



Андрей Донатович Синявский

СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12110004
Спокойной ночи: АСТ; М.; 2015
ISBN 978-5-17-092637-4

Аннотация

Андрей Донатович Синявский (1925–1997) – прозаик и литературовед, «русейший из русских – под вызывающим еврейским псевдонимом» Абрам Терц. Автор книг «В тени Гоголя», «Прогулки с Пушкиным», «Голос из хора», «Иван-Дурак», повести «Любимов» и романа «Кошкин дом». Диссидент (процесс Синявского – Даниэля) и преступник, потому что само «искусство преступно, ибо обязано и обречено преступать границы». Роман «Спокойной ночи» не вымысел и не биография, его художественная достоверность складывается из фантастических подробностей жизни автора.

Издание дополнено главой из книги М.В. Розановой-Синявской «Абрам да Марья».

Содержание

Доброе утро	5
Глава первая	10
Глава вторая	52
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Андрей Донатович Синявский

Спокойной ночи

© ООО «Издательство «АСТ», 2015

© Синявский А.Д., наследники, 2015

© Синявская-Розанова М.В., 2015

Доброе утро

«Спросят когда-нибудь: кто ты? кем был? как звать?..

Из гроба прошелестю: пи-пи-пи-пи-писатель...

Дайте мне бумажку, я чего-нибудь сочиню!..»

Абрам Терц (Андрей Синявский). «Спокойной ночи»

«Идите все на...»! – последние слова Андрея Синявского по версии известного диссидента Игоря Голомштока, хорошо его знавшего. Это было бы очень по-синявски. Это даже позволяет домыслить знаменитую предсмертную реплику Петра I: «Отдайте все...» – как органично здесь смотрелось бы «на...», без уточнения, кому отдать и зачем! Правда, Марья Васильевна Розанова, знавшая Синявского еще лучше и не отходившая от его смертного ложа, ни о чем подобном не вспоминает¹.

Если принять версию Голомштока и учесть, что писательские слова имеют перформативную функцию, – типа «не бывает, но я сказал, и оно бывает», – тогда все действительно пошло туда, куда он послал. И можно много спорить о том, почему так вышло, но у нас теперь не то в предмете. В предмете у нас то, что один из величайших русских писателей XX века Андрей Синявский, более известный под псевдонимом Абрам Терц, был когда-то героем живейших критических баталий, каждое его слово вызывало гром проклятий и шепот одобрений (очень уж неприличным считалось одобрять такого сомнительного писателя, кощунника, сидельца и эмигранта), его проклинал советский официоз и собратья-эмигранты, клеймили Андропов и Солженицын, а за чтение или распространение журнала «Синтаксис», который они издавали с женой, вообще могли посадить, и публикация в нем, как и в одноименном издательстве, считалась пропуском в бессмертие. Этот пропуск в свое время получили Лимонов и Сорокин. Синявского ненавидели с такой страстью, с какой мало кого любили. В некотором смысле он, тоже бородатый, был симметричен Солженицыну, они вдвоем поддерживали провисающий, серый небосвод над русской литературой. Благодаря им русская литература не накрылась. Она сохранила страстность и биение мысли. А сейчас уже никто и не помнит, из-за чего происходила одна из самых интересных литературных драк в мировой истории. Чтобы этой прозой заинтересовать, нужно погружать читателя в глубокий и сложный контекст.

Все же, если попытаться. Есть у меня такая любимая и не столь уж завиральная идея: коль скоро русская история ходит по кругу, в ней – как в пьесе, играемой в разных декорациях, – повторяются главные, типологические фигуры. Ну, например: один молодой поэт, живописатель сельской жизни с ее ужасной нищетой и грязью, получил рукопись молодого автора. Читал всю ночь. Пришел в восторг. Немедленно издал в своем самом прогрессивном журнале. Автор приобрел раннюю славу, но с публикатором потом поругался, а еще позже помирился. Автора больше всего интересуют еврейский и славянский вопросы, одно из самых знаменитых его произведений – документальный роман о тюрьме, где он провел несколько лет по необоснованному обвинению, а художественные его романы отличаются напряженным поиском истины и в значительной степени состоят из диалогов главных героев на общекультурные и философские темы. Один из таких диалогов – едва ли не самый известный, – происходит между агностиком Иваном и глубоко верующим Алешей.

Это я про кого? Про Достоевского и Некрасова – или Солженицына и Твардовского?

Вот то-то. Перечитайте спор Ивана Денисовича с сектантом Алешкой, параллельность которого известному диалогу о Великом инквизиторе заметил еще Владимир Лакшин.

¹ См. отрывок из книги воспоминаний М.В. Розановой «Абрам да Марья» на с. 403.

У Солженицына, как и у Достоевского, был главный враг. В русской истории вообще есть такая фигура заигравшегося, что ли, человека: он поверил в оттепель – а оттепель, как всегда, оказалась половинчатой, и его цап! В екатерининские времена это Радищев и Новиков, при Александре II – Чернышевский и Михайлов, а в СССР 1965 года – Синявский и Даниэль.

Синявского с Чернышевским вообще роднит многое: Синявский печатался в «Новом мире» и был столь же влиятельным идеологом в отделе критики, что и Чернышевский при Некрасове; его, как и Чернышевского, особенно занимали проблемы эстетики; как и Чернышевский, он считал Гоголя ключевой фигурой для русской прозы, и его «В тени Гоголя» – аналог «Очерков гоголевского периода русской литературы»; наконец, очкастый, непрезентабельный, тихоголосый Чернышевский выглядел подчеркнуто скромным на фоне красавицы-жены, имевшей романы почти со всем его окружением. Но в случае Синявского все оказалось оптимистичней: жена его, конечно, красавица и чудо обаяния, хотя и язва, в отличие от Ольги Сократовны, отлично знала цену мужу, понимала, что и как он пишет, и стала для него идеальным соратником, издателем и хранительницей очага. Да и вообще наблюдается некоторое улучшение нравов: Синявский сидел не двадцать лет, а шесть, умер не в ссылке, а в эмиграции, успев после 1987 года несколько раз побывать в Москве; прожил не 61, а 71 год, опубликовал не один роман (тут же запрещенный), а три, если считать романом «Любимов», плюс десяток важных литературоведческих работ, включая замечательный труд о Розанове, книгу о советской цивилизации и свод лекций о фольклористике «Иван-дурак».

Синявский, как и Чернышевский, любил жанровые эксперименты: «Что делать» – это и пародия, и трактат в форме романа, и художественная провокация. «Повести в повести» – многожанровое и многосюжетное повествование, и «Спокойной ночи» – роман, в котором есть место и драме, и мемуарам, и фельетону. Это художественная автобиография, авторская попытка – художественно очень убедительная – расставить все точки над *i* в сложной истории процесса над Синявским и Даниэлем, изложить историю передачи их текстов на Запад, хронику отношений Синявского с французенкой Элен Пельтье-Замойской, указать на провокатора (Сергея Хмельницкого), но главное – Абрам Терц всегда воспринимал литературу как оправдательную речь на Страшном суде. Писатель – всегда преступник. «Прогулки с Пушкиным» были продолжением речи Синявского на реальном, собственном процессе: речи о праве на метафору, о чистом самоценном искусстве. «Спокойной ночи» – речь на том процессе, который шел над Синявским в последующие двадцать лет: в СССР, в эмиграции, в литературе. Это честная, отчаянная, не без вечного юродства и ерничества, но абсолютно искренняя попытка рассказать, как оно все было; как он стал преступником, и почему писатель не может им не быть.

Синявский – один из самых убедительных аргументов в дискуссии о том, полезна ли писателю филология и можно ли, изучая чужие художественные приемы, набраться собственных. Изучение русской прозы двадцатых годов, Горького (Синявский писал диссертацию о «Самгине»), Ремизова, Зощенко, Бабея внушило Синявскому мысль о том, что метафора, гипербола, фантастика – вещи в литературе необходимые, что социалистический реализм напоминает огромный сундук, внесенный в комнату и вытеснивший из нее весь воздух; что писатель в идеале сочувствует обеим сторонам любого конфликта, ибо испытывает от этого конфликта художественное наслаждение; что цинизмом называют обычно всевместительность, открытость новому опыту, отказ от шаблона – и что никакая мораль, никакой патриотизм не могут служить оправданием бездарности, хотя именно бездарность чаще всего прибегает к аргументации этого рода, чтобы легче себя легитимизировать. Синявский полюбил провокативность, дерзость, обнажение приема – своего рода заголение метода, непристойность, почти порнографию; и вообще в литературе должно быть поменьше пристойности. Его понимание христианства – радикальное, революционное, почти самурай-

ское, – совпадало с пастернаковским (Пастернака он читал и написал о нем одну из лучших статей во всей отечественной словесности, что и дало А. Жолковскому повод назвать его «посаженным отцом советского пастернаковедения»). Синявский называл смерть «главным событием нашей жизни», все поверял смертью, не убегал от нее, а бросался ей навстречу. Риск, вызов, свежесть новизны – ключевые для него понятия в литературе и жизни. Его проза, которую сам он называл фантастической, состояла из буквализованных, сюжетобразующих метафор: знаменитое толстовское «остранение» – «Пхенц», где мир коммунальной квартиры увиден глазами инопланетянина. Как смотрит этот инопланетянин на голую женщину! “«Голодный злой мужчина обитал у нее между ног. Вероятно, он храпел по ночам и сквернословил от скуки. Должно быть, отсюда происходит двуличие женской натуры, про которое метко сказал поэт Лермонтов: «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла»”. Кинематографический монтаж параллельно разворачивающихся эпизодов – взгляд сквозь стены, прозрачный мир, каким он выглядел бы для Бога, – «Ты и я», рассказ о том, как за героем наблюдает Бог, а ему кажется, что это он под колпаком у КГБ.

«Шел снег. Толстая женщина чистила зубы. Другая, тоже толстая, чистила рыбу. Третья кушала мясо. Два инженера в четыре руки играли на рояле Шопена. В родильных домах четырехста женщин одновременно рожали детей.

Умирала старуха.

Закатился гривенник под кровать. Отец, смеясь, говорил: «Ах, Коля, Коля». Николай Васильевич бежал рысцой по морозцу. Брюнетка ополаскивалась в тазу перед встречей. Шатенка надевала штаны. В пяти километрах оттуда – ее любовник, тоже почему-то Николай Васильевич, крался с чемоданом в руке по залитой кровью квартире.

Умирала старуха – не эта, иная.

Ай-я-яй, что они делали, чем занимались! Варили манную кашу. Выстрелил из ружья, не попал. Отвинчивал гайку и плакал. Женька грел щеки, зажав «гаги» под мышкой. Витрина вдребезги. Шатенка надевала штаны. Дворник сплюнул с омерзением и сказал: «Вот те на! Приехали!»

В тазу перед встречей бежал рысцой с чемоданом. Отвинчивал щеки из ружья, смеясь рожал старуху: «Вот те на! Приехали!» Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла Шопена. Но другая шатенка – семнадцатая по счету – все-таки надевала штаны.

Весь смысл заключался в синхронности этих действий, каждое из которых не имело никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Более того, они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя на них. Им было невдомек, что каждый шаг их фиксируется и подлежит в любую минуту тщательному изучению.

Правда, кое-кто испытывал угрызения совести. Но чувствовать непрестанно, что я на них смотрю – в упор, не сводя глаз, проникновенно и бдительно, – этого они не умели».

А «Гололедица» – самый, пожалуй, совершенный и пронзительный из ранних рассказов Терца, – реализует другую метафору: путешествие памяти вглубь времени, и все события в этих странных погружениях героя в чужое и свое прошлое изложены задом наперед. Получается и смешно, и страшно.

Синявский виртуозно владел этим даром сюжетной метафоры, позволяющей компактно уложить самую сложную мысль, самое невербализуемое ощущение в простую и

ошеломляюще оригинальную фабулу. Так Марья Васильевна, жена его, которую в музеях (она искусствовед) учили паковать экспонаты, умеет уложить в небольшой чемодан множество вещей, да так, чтоб ни одна не повредилась. Удивительно, сколько всего уложено в сравнительно небольшой роман «Кошкин дом» – продолжение «Любимова», где снова действует демонический дух графомании, вселяющийся в персонажей барин Проферансов. И «Спокойной ночи» – тоже роман, который Синявский, в сущности, оставил за себя. Его нет, а книга есть, и в нее поместились детские годы, детские влюбленности и страхи, институтские увлечения и заблуждения, подпольное писательство, тюрьма, дом свиданий (гениальная глава о приезжающих на свидания женах), опыт изгнания, чувство непоправимого одиночества и затравленности, и собственной правоты, и бессмысленности этой правоты. Потому что никого ни в чем не убедишь, никого не уговоришь, ничего не докажешь. И все, что остается от жизни, – это долгий, сырой, бесконечно печальный паровозный гудок, первое воспоминание и последнее прощание.

Синявский превыше всего в жизни ставил эстетику – потому что этические критерии размыты, мы научились себя уговаривать, забалтывать совесть, а эстетику не уболтаешь. Сразу понятно, хорошо или плохо сделана вещь; и Синявский пишет хорошо – неожиданно, резко, с огромной степенью внутренней свободы. «Спокойной ночи», конечно, не «Что делать», не трактат, не речь в защиту искусства, – это исповедь, вещь интимная; и тем не менее это еще и грандиозное, страстное обвинение всем, кто стремится ограничить слово, наступить на него, положить ему предел. Это книга об искусстве и народе, о том, как народ прячет и защищает своего художника, о бесплодности и омерзительности всех попыток вбить клин между искусством и этим народом. Народ, по Синявскому, главный эстет – и вор в народной сказке всегда категория эстетическая, артистическая: преступник и вор – одной крови. Искусство преступно, ибо обязано и обречено преступать границы; истинный вор ворует не из корысти, а из любви к искусству, и художник говорит правду не ради правды – он вообще к правде не стремится, он врет, но врет так, чтобы жизнь обрела прелесть и смысл. (Чернышевский ведь тоже не такой уж адепт реализма – «Что делать» книга фантастическая, и отнюдь не бездарная – она язвительна, оригинальна, провокативна!). Народ-эстет – это удивительный образ, удивительный вклад Синявского – вечно обзываемого русофобом, хотя истинные русофобы как раз охранители, – в копилку наших представлений о русском народе и русском искусстве. И «Спокойной ночи» – попытка договорить до конца все, что спрятано в лакуны, в умолчания и паузы в лагерной хронике «Голос из хора»: западные издатели были поражены тем, что Синявский в письмах жене – из которых составлен «Голос» – повествует не об ужасах лагеря, не о кошмаре советской судебной и пенитенциарной системы, а вот об этом народе-художнике, о фольклоре, о сектантстве, о подпольной и тайной русской мифологии. «Марья, здесь так интересно!» – были первые слова Синявского на первом свидании, и даже Марье Васильевне это показалось некоторым, что ли, цинизмом. Синявский любил рассказывать такую байку. Однажды при нем страшный карлик Ермилов рассказывал о своем конформизме, о цепочке своих предательств – и какой-то юноша (думаю, сам Синявский) спросил его: неужели вам не было стыдно? «Стыдно?! – воскликнул Ермилов и воздел к небесам крошечный кулачок. – Пусть Богу будет стыдно за то, что он привел меня в этот страшный мир!». А я, заканчивал Синявский, скажу: спасибо тебе, Господи, за то, что ты привел меня в этот... интересный мир. И книга его тоже прежде всего интересная, от нее не оторвешься – при условии, конечно, что читатель ждет от литературы не только развлечения и болтовни.

Сейчас все это временно потеряло смысл, потому что и время перестало быть осевым – одно, можно сказать, закончилось, а новое пока не началось. Но никуда не делись настоящие противостояния, неискоренимые противоречия: одни жаждут учительствовать и наставлять, другие – потрясать, увлекать, живописать. Одни хотят ограничивать и запрещать, другие –

бросать вызов, ставить вопрос, оставлять в блаженном или горьком недоумении. Как сказал Александр Житинский, литературный ученик и горячий поклонник Синявского, – «Мы живем, а они умеют жить. Зато мы умеем смеяться».

Литературная борьба десятых, двадцатых, семидесятых – не кончена; литературный поиск не прерывается. Ничего, кроме литературы, по большому счету не имеет смысла, потому что ничего больше не остается. Роман «Спокойной ночи» – памятник не только напряженной, иногда мучительной, всегда интересной жизни двух смелых и преданных друг другу, исключительно одаренных людей. Это памятник всей русской литературной борьбе, непрекращающемуся поединку таланта и косности, веры и запрета, таланта и трусости. Это закономерный итог двух столетий русской литературы, и именно в контексте этой двухсотлетней борьбы следует воспринимать книгу одного из самых глубоких исследователей русской поэзии, фольклориста и сказочника, русейшего из русских – под вызывающим еврейским псевдонимом.

Синявский замысливал эту книгу как итог собственной жизни – и советского периода русской истории, поскольку вырождение советского проекта было в 1982 году очевидным. «Спокойной ночи» – это прощание с собственной жизнью и с Родиной, хотя автору оставалось еще 15 лет и после этого романа-завещания появился еще хулиганский, вовсе уж отвязанный «Кошкин дом», Синявскому казалось – и совершенно справедливо, – что нечто заканчивается бесповоротно.

Скоро, кажется мне, опыт Абрама Терца, его храбрость и метафора будут опять востребованы; истинное время Синявского при жизни так и не пришло, а публикации его книг в постсоветской России вызывали те же скандалы и ту же травлю, как в СССР. Он так и остался вечным преступником, виноватым во всем и за всех. Но, кажется, сегодня его преследователи окончательно выродились, а последователи многому научились и вряд ли повторяют прежние ошибки.

Так что доброе утро, Андрей Донатович.

Дмитрий Быков

Глава первая

Перевертыш

Это было у Никитских ворот, когда меня взяли. Я опаздывал на лекцию в школу-студию МХАТ и толкся на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус, как вдруг, за спиной, послышался вопросительный и будто знакомый возглас:

– Андрей Донатович?!

Словно кто-то сомневался, я это или не я, – в радостном нетерпении встречи. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию, вокруг себя, по спирали, на пятке, потерял равновесие и мягким, точным движением был препровожден в распаханную легковую машину, рванувшуюся, как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых сатрапа, со зверским выражением, с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек-безрукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких, как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно – как стрела. Все-таки я не ждал, что это осуществится с такой баснословной скоростью. Но, переведя дыхание, счел необходимым осведомиться – чтобы те двое, чего доброго, не заподозрили мою безропотную преступность:

– Что происходит? Я, кажется, арестован? На каком основании? – произнес я неуверенно, деланным тоном, без должного негодования в голосе. – Предъявите ордер на арест...

У меня в свое время брали отца и был небольшой опыт, что в таких ситуациях, по закону, полагается ордер.

– Нужно будет – тогда предъявят! – буркнул справа, должно быть главный, не глядя.

Держа меня за руки, оба телохранителя были странным образом отрешены от меня и заняты своими расчетами, устремленные вперед, словно прокладывали испепеляющим взором дорогу по Моховой, сквозь сутолоки московского полдня. Мыслилось, они ведут неотступную борьбу с невидимым на пути, затаившимся противником. Это было похоже на то, что я написал за десять лет до ареста, в повести «Суд идет». Теперь, на заднем сиденье, со штатскими по бокам, я мог оценить по достоинству ироничность положения и наслаждаться сколько угодно дьявольской моей проницательностью. Впрочем, надо сознаться, я многое недоучел. Как они быстро, как мастерски умеют хватать человека – среди бела дня, на глазах у всех, – с концами, не оставляя доказательств. Густая толпа у Никитских даже не заметила, что меня арестовали...

И будто в подтверждение задней мысли, вторично, когда мы подкатили к зданию на Лубянке, машина не въехала в бронированные ворота, во двор, как я ожидал, но скромно притормозила у края тротуара, и меня вывели под руки и переправили к парадным дверям – в открытую, на виду у прохожих, не слишком, правда, стискивая за локти. Мне показалось на сей раз, что все это производится нарочно, с целью демонстрации – насколько они уверены в себе и никого не стесняются и как бледна по сравнению с ними моя наигранная невозмутимость. Снова никто не заметил, что проводят арестованного.

Мог бы я закричать, заартачиться в ту минуту? Поднять скандал? Воззвать к согражданам? Вырваться и попытаться бежать?.. Бегут же воры... Нелепый интеллигент, я думал только о том, как держаться по возможности приличнее и достойнее. Если бы мне тогда, на троллейбусной остановке, вручили визитную карточку с вежливым приглашением, вне охраны, следовать незамедлительно по указанному адресу, я бы и последовал вежливо, разве

что испросив разрешение позвонить в студию МХАТ, с тем чтобы по внезапной болезни мою лекцию отменили. Два волосатых гангстера, что брали меня с таким нахрапом, словно боялись встретить вооруженный отпор, делали это скорее, как я потом догадался, в виде подготовки, внушающей арестованному ощущение полной беспомощности. Им важно было для начала меня хорошо огоршить.

Вообще, где в тюрьме кончается театр и начинается действительность, трудно сообразить, в особенности новоприбывшему, которого с ходу, с воздуха, на свежих еще парах втягивают в интригу дознания разительной игрой светотени. Вычурная, преувеличенно декоративная мрачность каземата, куда ты попал, сгущаясь и сгущаясь, оставляет все же в уме просвет, щель в кабинет следователя, откуда и блещет тебе, в суровой сдержанности, тонкая путеводная нить, ткущая стальными предупредительными перстами. И когда к ночи, в тот же день, 8 сентября 1965 года, после допроса, по дороге в одиночку, старичок-надзиратель, напоминающий сухощавого и слишком уже пожившего подростка, велел мне раздеться, присесть и, бесстрастно копошась в моем нательном белье, ободряюще проворчал: «Ничего, образуется, может еще выпустят...» — я не понял и до сей поры сомневаюсь, хотел ли он по сходной цене поддержать меня словом участия, думал ли сгладить собственную неловкую роль или был уже учтен и засчитан со своей душеспасительной репликой в системе тюремных контрмер, играющих на нервах подследственного. Прости, старик, если я на тебя согрешил!..

Нельзя постигнуть, мне кажется, исполинские законы тюрьмы без проекции этих стен в какие-то иные, театральные пружины и символы, в условные области сцены, заведомо нам недоступные как осязаемая реальность и существующие лишь в образе домыслов или авторских сновидений. Автор, по временам, волен отрешаться от фактов ради их более полного и могучего освещения, всякий раз, однако, специально оговаривая эти редкие вторжения творческой воли в естественный порядок вещей. Подобного рода возвышенную попытку осмыслить происходившее со мною я предпринял впоследствии в набросках к феерии «Зеркало», так и оставшихся незавершенными. Прошу их не путать с действительной историей моего ареста, о которой я, тем временем, повествую.

Феерия «Зеркало» (в пяти сценах) начинается с пространной ремарки:

«Поднимается занавес. Сцена первая (как и все дальнейшие): кабинет следователя. Он кажется — в первый момент — светлым громадным залом. В помещении пять-семь-пятнадцать человек в штатском и в военном. Все — бурлят. Сквозь матированное окно, в разводах, скачут зайчики, бабочки, оставляя впечатление где-то там, за стеклами, бесшумной и бушующей жизни. Сбоку подвесная фанерная аптечка, помеченная красным крестиком. Несгораемый шкаф. Над столом с двумя телефонами, противовесом всему кабинету, роскошное, склонное к разрастанию Зеркало в барочной, золотой оправе, откуда к потолку иногда восходят струйки фимиама, доносятся треск и сверканье небольшой, нестрашной вольтовой дуги, слышатся закулисная сдавленная возня, глухие и отдаленные возгласы.

Сцена открывается пантомимой, исполняемой под патефонный мотивчик, вроде пластинки «Брызги шампанского» или фокстрота «Рио-Рита», популярных в конце 30-х годов в провинции. За минуту до моего появления, штатские и военные, в трансе, нервно жестикулируют, показывая друг другу что-то важное на пальцах, в блокнотах, взглядывая на часы и на дверь, куда меня скоро введут, — все похоже на свадьбу, на праздник, когда бы танцующие не застывали мгновениями, уставившись бешеной маской на белую по-госпитальному дверь.

Внезапно музыка гложет на полуноте, и, жившая в быстром, мимическом ритме, опергруппа распадается на слагаемые, обретая спокойствие благородного гобелена, испо-

кон веку свисающего в этих капитальных стенах. Только что сомкнутые в дружный хоровод, мои статисты рассеиваются по кабинету, как птицы, – каждый принимает случайную и скучающую, заготовленную позу. Кто рассматривает ногти, кто – потолок. Следователь-корифей, доселе не отличимый от прочей веселой кодлы, – тигром прыгает в кресло, под Зеркало, за свой дирижерский стол и, меланхолически насвистывая, листает бумаги. Воцаряется атмосфера светского, непринужденного общества. Лишь тревожные зайчики, электрические мотыльки снуют повсюду, продолжая прерванный танец. Так бывает летом: в солнечном сером столбе вьются и плещутся огненные пылинки в напоминание о вечности, о свободе бунтующего за окнами мира.

Затем, согласно замыслу драмы, вводят меня, сорокалетнего мужчину, с портфелем, в мешковатом костюме, с незначительным лицом. Я подавлен.

«Он (погруженный в бумаги, не глядя, сухо и деловито). Садитесь.

Я. Простите. Я...

Он (небрежно и доброжелательно, как своему человеку). Присаживайтесь, Андрей Донатович...

Я. Но я...

Оперативник (ранее смотревший в окно, откуда ничего не видно, резко повернувшись). Сядь, тебе говорят! (Снова отворачивается.)

Он (устало морщится, неизвестно к кому обращаясь – то ли ко мне, то ли в спину Оперативнику). Ну зачем вы так?..

Я (сажусь на указанный мне табурет). Объясните же наконец... (На окружающих.) Что смешного? Почему они смеются?.. (Пока я это говорю, все присутствующие начинают смеяться и скланиваться)».

И действительно, до сих пор мне остается неясной механика этого мелкого, откровенного веселья чинов госбезопасности над оказавшимся у них в щипцах, напуганным недоумком. Что это – опять демонстрация рабочего оптимизма, непробиваемой наглости, смертоносной мощи? Или искренняя радость поймавшего съедобную вошь дикаря? Ведь они же профессионалы!.. Я думал в ужасе первые дни: почему они все время смеются? Какая грубая сила скрыта в них и за ними, каким душевным здоровьем, какой моральной и физической выдержкой необходимо обзавестись, чтобы *так* смеяться?! Позднее, когда я немало посмотрелся горьких и кислых физиономий на той же закланной должности, я начал склоняться к версии, что этот первичный, неудержимый смех – при виде крайней потерянности попавшего в беду человека – служит, помимо прочего, самозащитой, психической блокадой в работе, вредной и даже опасной для живого организма, вынужденного изо дня в день заниматься сложной, в нервном смысле слова, изощренной и неприемлемой, противопоставленной нашей человеческой природе жестокостью. Так смеются, случается, дети, когда им страшно.

Сведущие люди, причастные к этой материи (сами потом пострадавшие), мне растолковали, что смех следователя, как мастерство актера, вырабатывается годами труда и тренировок перед зеркалом и входит в программу его практического обучения. Смех призван повергнуть объект исследования в пучину всемогущества и собственного ничтожества. И вместе с тем он легко дается, он вполне натурален, этот смех, – как смеемся все мы над каким-нибудь неудачником, потерявшим штаны, севшим в лужу, не задумываясь над его самочувствием. Впрочем, на страстные мои расспросы знатоки не отрицали и второго поворота: смех – как средство укрытия и спасения лица (закрываемся же мы руками, когда плачем?); смех – как профилактика и терапия души от заражения мутными чувствами стыда и

скорби, естественными в подобных условиях... Лечитесь, чекисты, от сумасшествия – сме-
хом!

– Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Попался?!

На Лубянке, в большом кабинете, куда меня провели сразу по доставке, даже не обыс-
кав, было полно народу. Казалось, меня ждали как дорогого гостя или сошлись посмотреть,
что за зверя к ним привезли. Первый вопрос, помнится, был задан издалека:

– Как вы думаете, Андрей Донатович, почему вы – тут? Вот здесь – у нас?..

Мне было тогда невдомек, что такой же точно вопрос задается ради прощупыванья, в
виде увертюры, почти каждому у них новичку, по учебнику, в знак, быть может, особого рас-
положения и доверия к человеку. Дескать, выкладывай все, что знаешь про себя нехорошего,
как на духу, пока не поздно. Во всяком случае вы сразу почувствуете себя глупо, неудобно,
в двусмысленном положении провинившегося школьника, пойманного неизвестно с чем,
но пойманного-таки за что-то серьезное ребенка. Не зря же вас, в конце концов, в самом
деле арестовали? И столько устремлено с разных сторон – по радиусам, по диагоналям –
внимательных, инспекторских глаз! Извольте отвечать! Вы поджариваетесь на собственной
«тайне», как уж на сковородке.

– Подумайте, Андрей Донатович, вы, кандидат наук, без пяти минут профессор, член
Союза Писателей, литературный критик, в «Новом мире» печтаетесь, – и вдруг, в одно пре-
красное утро, вы оказываетесь у нас... Как вы это себе объясняете?..

Все так и покатались, когда я нехотя, через силу, ответил, что, наверное, им лучше
известно – зачем и отчего я здесь нахожусь. Смеялись коллективно.

– А вы сами, сами найдите причину...

– Нет, вы сами попробуйте догадайтесь...

Пробовать я не хотел.

Игра велась, пока кто-то, перестав смеяться, не протянул вкрадчиво: – А имя «Абрам
Терц» вам ничего не говорит?..

Ага – то самое!.. Не стану сейчас вдаваться в бессмысленную и унижительную про-
цедуру заpiresательств, когда несколько дней я вяло повторял, что «ничего не знаю», а они,
шаг за шагом, посмеиваясь, уличали меня во лжи. Фактическая картина моей вины была
им очевидна. Однако вернее улик работал, цепляя за ребра, логический крючок, которым и
плелись в основном эти следственные сети. Логика здесь такая: чем далее я запираюсь, что
я Абрам Терц, тем, значит, я виновнее, по собственному моему, внутреннему разумению. А
если нет, не виновнее, то что же я так упорствую с ним иден-ти-фи-цироваться, войти в себя,
стать, наконец, мужчиной. Чего вам тогда скрывать, Андрей Донатович?.. Голос не повы-
шали. Только майор Красильников, начальник опергруппы, как-то вспылil и прикрикнул: –
Не валяйте дурака! Я – старый чекист!..

Интересно, с каких это пор – с Ежова, с Ягоды или с самого Магистра, чей прозорливый
образ печально и укоризненно смотрел на меня со стены. «Жил на свете рыцарь бедный...»

В КГБ давно не бьют, но с фактами в руках – подвохами, посулами, обманами, угро-
зами, а главное, логикой, логикой! – загоняют подследственного на дорогу к исправлению,
по которой он должен топтать собственными уже ножками в жадно раскрытую пасть – Суда.
Потом, уже на Западе, меня, случалось, расспрашивали дотошные специалисты, как мне
посчастливилось увернуться от покаяния, от признания всегдашних у нас ошибок и выра-
жений сожаления и, будучи изблiченным, реально, не принять за фактами лежащую на
душу логической, могильной плитой, обеспеченную сводом советских законов, каменно-
угольную виновность. Что я – лучше других? Смелее? Крепче? Да нет, я прожженнее. Мне
многое помогло и пригодилось в жизни, о чем я расскажу после, если позволите. А пока, для
начала, воздам благодарность Абраму Терцу, темному моему двойнику, который, возможно,

меня и доконает, но он же тогда и вызволил и вынес, меня, светлого человека, Синявского, пойманного с позором и доставленного на Лубянку.

Я его как сейчас вижу, налетчика, картежника, сукиного сына, руки в брюки, в усиках ниточкой, в приплюснутой, до бровей, кепке, проносящего легкой, немного виляющей походкой, с нежными междометиями непристойного свойства на пересохших устах, свое тощее, отточенное в многолетних полемиках и стилистических разноречиях тело. Подобранный, непререкаемый. Чуть что – зарежет. Украдет. Сдохнет, но не выдаст. Деловой человек, способный писать пером (по бумаге) – *пером*, на блатном языке изобличающим *нож*, милые дети. Одно слово – *нож*.

Почему-то люди, даже из числа моих добрых знакомых, любят Андрея Синявского и не любят Абрама Терца. И я к этому привык, пускай держу Синявского в подсобниках, в подмазках у Терца, в виде афиши. Нам всем нужна в жизни скромная и благородная внешность. И если бы нас тогда не повязали вместе – в одном лице, на горячем деле, о чем я до сей поры глубоко сожалею, – мы бы и сожительствоваали мирно, никого не тревожа, работая по профессии, каждый в своей отрасли, не вылезая на поверхность, укрытые в норе советского безвременья, в глухом полуподвале на Хлебном. И Абрам Терц, наглый, сказочный Абрам Терц, будьте уверены, действовал бы по-тихому, не зарываясь, до окончания дней Синявского, ничем не пороча и не омрачая его заурядную биографию. Он втайне бы наслаждался остротой фабулы, нахал, черпая удовлетворение в одном том уже, что вот он, заправский вор и оторвыш, соседствует по-семейному с честным интеллигентом, склонным к компромиссам, к уединенной и созерцательной жизни, и лишь в виде погашения Бог знает когда и какого комплекса собственной неполноценности взогревшим в душе – этого терпкого злодея по кличке Абрам Терц, кривляку, шута, проходимца по писательскому базару, сказав ему однажды: «Давай-давай! не то я за себя не ручаюсь!..»

На причинах подобного раздвоения личности мы, возможно, еще остановимся по ходу пьесы, когда за личность возьмутся уже не инженеры, а хирурги человеческих душ, собственно и вскрывшие весь этот злокачественный нарыв или вывих психики и, слово за слово, предъявившие нашему покладистому, уважаемому Андрею Донатовичу меморандум, что по своему приятному имени-отчеству он величается сейчас исключительно из вежливости, по доброте наших безопасных органов, которые давно, после XX съезда партии, уже никого и не бьют, но он-то, наймит империализма, двурушник, перевертыш, сам должен понимать, что никакой он не уважаемый, не Андрей и не Донатович, а доказанный и заклятый предатель Абрам Терц.

На несколько часов отступая назад, добавлю, что тогда, еще в машине, покуда меня везли, в ту решительную минуту очной ставки с самим собой, мне никто не помог – ни жена, у которой, у нас дома, я подозревал, идет уже обыск, а мы, как назло, ни о чем не успели сговориться, ни друзья, мысленно уже перебираемые по пальцам, кого схватят, а кто, Бог даст, отбоярится, отопрется, а кто, быть может, уже и заложил, ни тем более сам я, Синявский, на ком одним этим росчерком и запикиванием в машину ставился размашистый крест. А только он, он, мой черный герой, для пущей вздорности, на потеху, ради того, собственно, чтобы было заранее интереснее и смешнее, и прозванный по-свойски «Абрамом», с режущим закреплением «Терц», лишь он подсказал тогда, что все идет правильно, как надо, по замышленному сюжету, нуждающемуся в реализации, как случалось в литературе не раз, – в доведении до конца, до правды, всех этих сравнений, метафор, за которые автору, естественно, подобает платить головой...

Вы слышали аплодисменты судебному приговору, вынесенному вам и над вами? Когда зал весело, остервенело, разваливаясь до потолка, рукоплещет обвинению, погребающему вас, жалкого человека, которого сейчас, в исполнение закона, под стражей, выведут из зала суда, но пока еще не вывели, не увели и вы живы, зал, в знак солидарности с наказанием,

барабанит от полноты живота, еще и еще раз прощаясь с вами залпами рукоплесканий в лицо, радуясь, что вас замели и присудили справедливо – к пяти годам, к семи, к пятнадцати, к высшей мере – и вам от ответственности уже не отвертеться. Каким бы ни были вы в данную минуту преступником, какие бы прегрешения за вами ни значились, вы порадуетесь, уверяю вас, вы порадуетесь, содрогаясь в душе, что существуют еще люди хуже, чем вы думали, ниже по сравнению с вами, – если смеют так откровенно, по-человечески чистосердечно, праздновать чужое несчастье. Пройдя тот урок, я понял – понял и перенял – презрение казнимых к казнителям. Последние, не ведая того, перекладывают на себя приговор, отмеренный бедному грешнику: с больной головы на здоровую. История, быть может, только потому и продолжает развиваться, что мы, без зазрения совести, посылаем с эшафота депеши в будущее, все дальше и дальше, приветственными жертвами...

И вы заговорите, вы мысленно заговорите о себе в третьем лице, кожей ящерицы, испавшись в чаше Суда, почуяв себя очищенным, а это они, аплодируя сдуру, вышли в лидеры, в убийцы, без цели и корысти, ради сомнительной славы вываливания на прилавок собственных оголтелых кишок. В чаше рукоплесканий, единственным порывом души, обвиняемый постигает, что все, что ему наматывают, он сделал правильно и недаром, и так им и надо. Поэтому, между прочим, теперь я сторонник смертной казни: так им и надо!

Громче всех работал ладонями, сидя в первом ряду, Леонид Соболев, писательский босс (я узнал по фотографиям его отечное, с кровью, лицо), написавший «Капитальный ремонт» и пустивший ко дну доносами не одну, говорят, эскадру. Сейчас эта наша плавучая литературная Цусима, не уместаясь в креслах, тряслась, в предсмертном ожирении сердца, лыбясь – не до ушей, до плечей, до расставленных по-бабьи ляжек. Эластичные, кокосового цвета, как перчатки боксера, щеки ходили ходуном, вперемешку с ладошами. И я радовался за Соболева, что старая квашня так наглядно и щедро оправдывает убытки, причиненные русскому военно-морскому флоту, которые, в итоге, тоже войдут в водоизмещение...

Но это я теперь так спокойно рассуждаю, входя в эмоции хлопающих, которых, в конце концов, тоже можно понять. А тогда? Тогда, все предугадав, все заранее, казалось, измерив разгоряченным воображением, я пасовал при мысли, слишком приближенной к нам и потому невыносимой. Как смеют эти миряне, да будь мы с Даниэлем, в их головах, пособниками самого Сатаны, предаваться на глазах у нас, не таясь, кровосмесительной оргии? А ведь знал же я варианты куда более страшные. Знал расстрелы 30-х годов. И как рукоплескали писатели, включая самых гуманных... Фейхтвангер, Драйзер... А врачи-убийцы?.. Я вырос на этих врачах!.. А..

– Что ж ты из себя целку строишь? – неожиданно и как-то цинически спросил Абрам Терц. – Так им и надо! Пусть пируют! Любуйся! Ты к этому привык. Ты к этому стремился, готовился – как к последнему утолению в жизни. Сам накаркал: фантастика!..

– Да, да, – отвечал я в рассеянности, жадно высматривая, что творилось в зале, и отдергиваясь, как от ожога. – Да, правда, я писал... Но кто же думал, что это настолько реально? Чтобы люди так оголялись? Непорядочно...

Аплодисменты не смолкали. Аплодисменты наращивались. Зал, рукоплеща, испражнялся негодованием – мне в поддержку, в отмщение, что все, что я написал, я написал правильно и даже мало. Закрадывалось, еще мгновение, и сам я зайдусь в овациях по поводу адекватного надо мной и Даниэлем суда. По отношению к человечеству. К жизни, наконец. И вообще... Действительность, как это бывает иногда, перебарщивала с гиперболами, напоминая не в первый раз, чем следует от нее при случае обороняться...

– К человечеству?.. Непорядочно?.. – шипел Абрам Терц. – Но разве не ты писал, чорт тебя возьми, что с человеком давно покончено? Не ты ли перекрестил человека рукою чорта?..

Он намекал на рассказ «Квартиранты», мерзавец. Там я очернил, говорят, честных советских людей, сравнив с нечистой силой...

– Но я не могу понять – как они могут?.. Слышишь? – Опять аплодируют!..

– А как же – гладиаторы?..

При чем тут гладиаторы? Я был озадачен. Лишь много после, в лагере, до меня дошло: роман Джованьоли «Спартак», читанный в раннем детстве. Помните, читая роман «Спартак», мы были за рабов и ужасались римскому праву поворачивать книзу большой палец руки, чтобы там, на арене, добили побежденного? И мы дивились – как они могут?! А они – могли. У них текла, между тем, своя нормальная, римская жизнь, ничуть не хуже нашей, и был заведен порядок, убивать или не убивать проигравшего, повернув большой палец туда или сюда, в зависимости от изъявления, если публика попросит. И публика, если хотела, просила. Это было демократичным. А рабы? Подумаешь! Раб Эзоп. Платона тоже, судя по слухам, кто-то продал в рабство и купил, допустим, коня... Покуда знатный торговец из дальнего города Риги, командированный в Мордовию, на студебеккере, за товаром (мы делали автомобильные пальцы), за хорошую погрузку, узнав, что я тот самый, пропечатанный в газете, писатель Синавский, не сунул втихаря, гордясь и конфузясь, мне пачку папиросок «Прибой», – я не подозревал, какой я писатель и в котором мы встретились веке, покуда, тоже гордясь, не спрятал папиросы за пазуху.

История расплывается за нашей спиной и становится расплывчатой. Будто ее и нет, и не было никогда. Мы в историю не очень-то верим: чтобы настолько серьезно?! «Но это же – история!» – сказал с удивлением следователь Пахомов, словно про какую-то басню, когда я ему напомнил что-то из Римской империи, которая тоже, несмотря ни на что, развалилась... И впрямь, при чем тут история, если мы не умерли? Точно так же, со временем, она отменит и нас. Мы войдем в нее беспризорными, призрачными контурами: разве это реально, возможно? Какие рабы? Почему гладиаторы? Но все это я потом оценил. И зал суда, и судью Смирнова, и Пахомова, и генерала Громова, грозу Дубровлага, приблизивших меня, крупницу, к пониманию всемирной картины, с которой мы при всех стараниях, как выяснилось, не порвали и не ушли далеко от романа Джованьоли «Спартак», от старика Октавиана. Доколе крыло истории не коснулось тебя острым крылом ласточки, ты и не поймешь никогда, насколько она касательна, насколько она крылата, история, с пачкой «Прибоя» в заглавнике, если нечего курить, и нет границ между нами, две тысячи лет пролегло с тех пор или четыре года...

Боже, как раскалывается голова! Громов, командарм над Мордовскими лагерями, чье имя, внушая ужас, ложилось шаром в историю, генерал Громов, начинавший с собаководства в тех же лесных завалах, стрелявший эзков как собак, – когда умер Сталин и тысячные зоны скандировали, наводя тоску на окрестности: – Ус – сдох! Ус – сдох! – с выдохом на «сдох», как искусственное дыхание, раскатывая по лесам и болотам: – Ус – сдох! Ус – сдох! – а следом, эхом, в газетах, расстреляли Берию и гигант-материк-генерал-Дубровлаг зашатался, – Громов торжественно, как на параде, при всех регалиях, гордый, громадный, уже полковник, красивый, так что жалко убивать, вышел на эстраду. Вокруг кипело серое бушлатное море, но, судя по всему, он знал, как себя поставить:

– Товарищи!

Лагерь замер. Неужели не ослышались? Неужто все прощено, все отпущено, товарищи, и мы вернемся назад, по домам, на родину, к исходной точке? Случалось. Товарищ Сталин тоже однажды вспомнил: «Братья и сестры!» – тоже в трудную, в критическую для страны минуту. Шкурой собаководства учуяв, что иначе не проживешь и ничего не остается в запасе, как сослаться на бывшее родство, начальник Дубровлага воззвал:

– Товарищи!..

Пес! Давно ли на оговорку новичка-арестанта: «товарищ старшина», «товарищ лейтенант», «товарищ полковник» – Громов огрызался и хорошо, что не стрелял: «Брянский волк тебе товарищ!»? Давно ли отец мой, в Бутырках, женщине-врачу, тоже в возрасте, по советской размазне и либеральной закваске, пожаловался: «Товарищ доктор! Плохо с сердцем...»? И та, бронзовея лицом, по-женски выпрямляясь, отрезала: «Вам я не товарищ!..» Как они боялись запачкаться!.. И вдруг – как в детстве, как «власть Советам»:

– Товарищи!

Так ведь и правда! Так ведь же ж и революция с этого начиналась. Разменявшая царя, господ, генералов на равных, по-братски, «товарищей»... Врешь! В лагере, в наше время, мы звали уже себя «господами». Без дураков – господами! Мистер, пан, сэр, сударь, браток, земляк, – что хотите, лишь бы не – товарищ! Пусть сами хлебуют своих товарищей. С нас хватит. Брянский волк вам товарищ!

Но тогда, о чем я сейчас рассказываю, шел еще ранний, шел еще только самый первый, 1953-й год, и лагерь замер:

– Товарищи! Перед вами Громов...

«Громов», «Громов», – гремело по лагерям.

Да кто его не знал, кто его не помнил, удава?! Он выставил грудь, полную орденов, словно предлагая стрелять. Видно, после Берии крепко, змей, перебздел и сам рискнул повернуть:

– Перед вами Громов! Громов! Тот самый Громов, который вас истязал, товарищи, – да, истязал! – по указке преступной банды Рюмина – Абакумова – Берии!..

Он выдержал долгую паузу, чтобы все осознали, на что у него повернулся язык.

– Но перед вами, товарищи, не тот Громов, которого вы знали вчера! Перед вами – другой Громов!..

Потом он клялся партбилетом, офицерской честью, жизнью дочери и чем-то еще, что это не повторится. И все заклинал: товарищи! Он – переживал. Он был, как мессия, в сиянии, но не выходил из себя. Он знал, как звучит, сколько весит его имя, и от ранга не отступал. И говорил размеренно, твердо, властно, разом взяв на себя грехи и разом всё искупая – товарищи!.. Он мог бы призвать в свидетели мертвецов – на том же основании, с тем же спокойствием... Товарищи, себе не веря, таращили глаза. Под прикрытием пулеметов он позволял себе еще немного покуражиться, а лагерь торжествовал. Лагерь запомнил речь полковника Громова. Многие годы она передавалась, как сказка, из уст в уста.

– Перед вами не тот Громов, которого вы знали вчера! Перед вами – другой Громов! – Ого-го! Другой Громов! Тот же Громов! Другой! – несло по зонам.

Я видел Громова в той же Мордовии через шестнадцать лет после достопамятной речи, пересказанной старыми эками. К моему времени он стал уже генералом. Красавец, в папахе, так что жалко убивать, он приказал согнать нас к эстраде и произнес громогласно, как бывало, потрясая кулаками:

– Погодите! Придет еще на вашу голову – Берия!..

И снова пошло, зашумело по лесам и болотам: Громов! Тот самый Громов! На нашу голову!..

Придет еще на вашу голову – Берия! – это сказал генерал Громов, начинавший с собаководства, приобщаясь к Римской империи...

...Мое повествование, вижу, удаляется от меня прыжками кенгуру и возвращается вспять, падая к ногам, наподобие бумеранга. Должно быть, это заложено в его характере, основанном на усилиях памяти привести героя и автора в осмысленное единство, связать концы с концами в стройную причинную цепь, где развитие во времени не столь уж обязательно. Разве каждый из нас, перебирая в душе прошлое, не скачет взад и вперед по измеренному отрезку, пытаясь схватить глазами отпущенное человеку пространство сразу

с нескольких точек еще движущейся жизни? Или мысленно мы не возвращаемся к событию, к себе самому, к близким, к недругам, к тем же снам, по старому адресу, всякий раз наново? Былое непостижимо вне этих перемещений. Оно утекает у нас сквозь пальцы, как только мы принимаемся строить ему памятник. В жажде рассказать по порядку, год за годом, день за днем, все, что выпало нам на веку, мы невольно кривим душой против фактической правды, которой в данном случае все же лучше придерживаться. Тем более, в обстоятельствах несколько чрезвычайных... Добавлю в оправдание, что в перескакивании с места на место по биографической канве мною руководили не пристрастие к занимательности и не природная склонность к естественному беспорядку, а, напротив, неутоленное желание писать как можно более точно, строго и рассудительно. Опыт реконструкции собственной литературной судьбы требует от автора даже того, что именуется в науке точностью и чистотой анализа. Не обещая линейной последовательности в ходе изложения, я все же стараюсь ни на йоту не отступать от подлинного рисунка событий и коллизий, которые мне подарила действительность.

...8 июня 1971 года, спустя без малого шесть лет после ареста, я возвращался домой, на свободу, в состоянии, пожалуй, не менее беспомощном и ошеломленном, нежели когда начиналось это цирковое турне. С женою, меня встречавшей у тюремных ворот на станции Потьма, мы сели в мягкий вагон поезда «Челябинск – Москва», являя для окружающих вид забавной экзотической пары. На радостях, как пьяные, мы не обращали внимания на косые взгляды проводницы и скучающих пассажиров и, может быть, мстили невольно и немного бравировали не нами сюда занесенным классовым контрастом. Жена, еще довольно хорошенькая, живая, в очках, в розовых кофточках, в брюках европейского кроя, рисовалась изящной цветочной вазой рядом со мной, зачумленным стариком, пропахшим тяготой и бескормицей, в промасленных штанах (меня взяли с производства), в долгополом бушлате и эковской, запакощенной, еще с немецких военнопленных, должно быть, введенной в униформу пилотке, с дурацким козырьком, за свою противоестественность снискавшей прозвание «пидерка». Два инженера в купе, в пижамах, игравшие в шахматы, приняли нас весьма благожелательно и помогли задвинуть в багажник самодельный деревянный сундук, громоздкий и неподъемный, если б не эти бицепсы. Однако мое вторжение в сочетании с молоденькой дамой раздражило любопытство, и, едва жена побежала умываться, они кинули наживку:

– Сложно было с билетами на вашей станции?

Прозрачно звучало, что я тут не по чину, и, если б не перебои с билетами, не сидеть нам вместе в приятном обществе, в одном мягком купе. Но мне уже был сам чорт не брат. Меня веселила прямота разговора на равных с этими ни хрена не понимавшими вольняшками. Покуривая «Лайнер», я тоже забросил крючок:

– Нет, не сложно. Нам вне очереди. Всем, кто выходит из лагеря, билеты вне очереди. Чтобы лишнего не задерживались... Из лагеря...

Это была правда. С Потьмы освобождавшихся старались побыстрее спровадить по месту надзора, во избежание неприятностей. Случалось, колеблясь и тоскуя перешагнуть заветный барьер, зэк по выходе немедленно напивался и держал возмутительные речи на станции во славу тех, кого он оставил за проволокой. Я видел, как мальчишка, окончивший срок, которого мы провожали глазами со штабелей железа и леса, не мог далеко отойти от вахты и порывался обратно, к воротам, откуда его, ругаясь, гнали надзиратели, и вновь ковылял к станции, садился на дорогу, и плакал, а мы ему кричали со штабелей: «Иди! Двигай!» – и он вставал, пошатываясь, и крестил нас, и плакал, и снова, как помешавшийся, бежал назад к вахте... И вот меня спрашивают что-то невероятно бездарное на тему железнодорожных билетов, не тяжело ли, дескать, с билетами, и я уже предвкушал, что отвечу, как врежу, если они посмеют общение с темным типом, как я, ввалившимся прямо из лагеря.

– Из лагеря?! – как эхо, отозвались инженеры.

– Да, по всей этой ветке расположены лагеря. Разве не знаете?

И я повел рукою в окно на мимо бегущие густые леса, словно был тут старожилом.

– А что, – спросил один с уважительным состраданием, явно не желая меня обижать, – трудно на лесоповале?

Вид у меня, действительно, был довольно умученный. Или они пытались срочно сообразить что-то когда-то слышанное из прошлого нашей родины: лагерь, лесоповал?.. Я быстренько прикинул, как ликвидировать отсталость. Нашего брата на лесоповал давно уже не выводят. Работа – только в зоне. Для наилучшей изоляции. Категория «особо опасных государственных преступников»...

– Особо?! Опасные?! Государственные?! Преступники?!

– Ну да! Те самые, кого раньше называли – «политическими»...

Они офонарели. Вот такие шары! Впервые видят. Мне-то, признаться, хотелось их задеть. Оскорбить. Пусть оглянутся. Но они не испугались. И мне тоже вдруг сделалось интересно: почему не испугались? что они знают о нас? о чем думают?..

Уже в поселке и на перроне, в ожидании поезда, я исподволь наблюдал это новое, неведомое мне племя выросших на свободе, на сытых харчах, сограждан. В мое отсутствие многое в стране заметно переменялось. Молодые люди начали одеваться. В моду у мужчин, под влиянием Запада, входили женские локоны, усики разных фасонов и аккуратные баки. С прическами я мирился, усы откровенно приветствовал, но круглые, ровной котлеткой, бачки, словно пересаженные на размятую, как валенок, грядку с другого полуострова, меня бесили. В голове вертелась проблема: «Откуда на Руси повелись баки?» и всплывали имена Чичикова, Манилова, Добчинского-Бобчинского, – должно быть, под впечатлением Гоголя, о котором я намеревался писать. Наши инженеры тоже были в бакенбардах...

– И долго вы пробыли в лагере?

– Нет, не долго. Пять лет, девять месяцев.

Эхо подсказало, что это, по их понятиям, – громадный срок.

– Вы, наверное, – за религию?

На примете имелась, конечно, моя неприбранный борода. Они беседовали со мной осторожно, деликатно – как со Снежным человеком. Религия была в их глазах непролазной чертовщиной, что до некоторой степени отвечало моему загадочному появлению здесь. За религию каких-то сектантов, изуверов, дикарей, может, еще и судят...

– Нет, не за религию – за литературу.

– За литературу?!.

На этом вернулась жена из умывальника, и разговор как-то сам собою увял. Литература оставалась для них за семью печатями. При чем тут литература? Литературу изучают в школе, печатают в журналах... Все это не умещалось в сознании наших славных попутчиков, и они непритворно начали зевать по сторонам, как малые ребята, когда им долго рассказываешь о чем-нибудь отвлеченном. Все мы теряем внимание к заведомо нереальным вещам.

Все-таки наблюдался прогресс. Не было брезгливого страха при виде «политического». Они не чурались, не презирали, не избегали меня. Сталинские порядки уплыли в область преданий, помнить о которых было не актуальным. Инженеры скорее сочувствовали мне, как человеку претерпевшему. За сочувствие теперь ничего не причиталось. Но дальше этой черты дело не пошло. Люди вполне современные, они были безучастны к тому, что не касалось действительности. Им было не до тюрьмы, не до художественной прозы... Да, что-то читали о судебных процессах, что-то мелькало в газете. Но какое все это имеет отношение к жизни, к столице, куда они устремлялись, полные рвения, по служебной командировке, из загвазданного Челябинска? Вот если бы я мог подсказать, где в Москве найти плащи-болонья!.. Огромный лагерный мир, дымившийся у меня за плечами, для них не существовал...

Назавтра, приближаясь к Москве, мы уже не разговаривали. Соседи засуетились и перестали нас замечать, погруженные в чемоданы, галстуки, запонки, прицеливаясь к встрече с разборчивым московским начальством. Чтобы не отвечивать, мы вышли с женой в коридор, к свободному боковому окошку. Мне тоже хотелось – без посторонних – свидеться с Москвой.

Странно, сколько раз, да и всякий год, в прошлом, подъезжая к ней, я испытывал подъем и восторг при одном лишь беглом прочтении на стендах ее незамысловатых предместий – «Удельное», «Тайнинская», «Мытищи», «Вешняки», и стоило уехать на месяц, как мне уже не терпелось, горело, воображалось, что вот она скоро объявится за железным полотном и жарко охватит – Москва! Сейчас, прильнув к стеклу, я внимательно изучал нараставшие по ходу поезда горы знакомого придорожного хлама, всю эту, ничего не говорящую сердцу, кипяченую смесь дачных декораций из оперы «Золотой Петушок», водокачек, составов, цистерн и станционных полигонов, усеянных репейником ржавых заграждений. Родина с грохотом обрушивалась на мою стриженную под машинку, незащищенную голову, заставляя с непривычки отплатываться, как от пощечины, когда на внезапных стыках разбежавшихся железнодорожных путей вклинивались с разгона в окно вагона семафор, колонка или крашенная нога высоковольтной передачи.

– На тебе! На! Получай! В челюсть! Под ложечку! Снова в челюсть! В глаз! По башке! Семафор! Терракотовый пояс! Колонка! Под дых! Платформа! Ты еще пялишься, падаль?! В ухо! В зубы! В глупую, в обращенную в кровь морду! В воющий рот! Семафор! Еще раз в зубы! Столб!!.. И сплошным обвалом беспамятства – в хрусте костей – крошечная темнота тоннеля...

Я зажмурился, покачнулся... Уф! Мы вылетели из-под земли.

Давно, в послевоенные годы, мне снилось несколько раз, подряд, что Москва захвачена немцами. Удивительное чувство: ты виден как на ладони. И в закрученных, как раковина уха, переулках, в проходных дворах, обеганных с детства, за помойками, с черного хода, – уже не укроешься: найдут! Похожее превращение родной скворешни в Берлин я сейчас наблюдал воочию... Нет, Москва была не виновата, что процесс моего отщепенства зашел так далеко. Да и мысли мои несколько не изменились: я попал в тюрьму зрелым уже человеком. Изменилось ко мне отношение мира, в котором я некогда жил, возвращенного, казалось, с доверием, с угрозой – как бомба замедленного действия. Может быть, оттого, что меня освободили досрочно, без предупреждений, как взяли, и я не успел настроиться на другой порядок вещей, свобода мне давалась с трудом. Ах, как бы пригодилась теперь шапка-невидимка, добрая маска Абрама Терца! Но мой напарник был разоблачен. Шапка – конфискована...

Подмосковные павильоны вставали оцеплением и вышками новой зоны. Все было предусмотрено к принятию этапа в составе одного арестанта, к непрошеному моему визиту в стольный город, расставивший свои рогатки и транспаранты за сорок километров до собственного порога. Я-то знал назубок эту бойкую замашку Москвы все, на что ни ляжет глаз, метить своими когтями. Но то, что раньше забавляло и будоражило меня, ныне внушало затаиваться и держать ухо востро перед этим зверем, напуская на себя если не презрение, то такое же холодное, хищное безразличие, с каким он заглатывал нас своей каменной пастью. Вот уже пошли плясать шестиэтажные корпуса с новомодными низкорослыми окнами, с бетонированными балконами, похожими больше на каменные намордники. Стрельнула глазами реклама «Универмага», проехал первый трамвай, и в то же мгновение грянула по вагонам молчаливая дотопе в тамбуре радиоло: «Нас утро встречает прохладой!..» А в лицо била с радиоточек вокзала другая, встречная песня: «Кипучая, могучая, никем не победимая...» Москва! Через столько эпох и народов – опять Москва!

Где-то, на этом конечном перегоне, у меня отказали глаза. Для справки прилагаю очерк с маловажным эпизодом, полезный главным образом как повторение вышеизложенного –

в ином повороте или с несколько другой резкостью наводки. Быть может, его преувеличенная точность позволит мне ухватить, наконец, ускользающую ниточку смысла, которую так боишься потерять за приходящей в ожесточение жизнью. Попробую.

ОЧКИ

Как я потерял зрение, я не знаю. Буквально так. Меня переправляли Столыпиным из лагеря в лагерь, по этапу, и вдруг запятели без объяснений в местную узловую тюрьму и, поморив сутки-другие взаперти, выбросили на берег, на волю. В общей сложности вся процедура продолжалась часов тридцать-сорок. И это не так долго, если бы на следующий день, уже к вечеру, я не очнулся свободной тюремной крысой на захлавленной станции – Потьма.

Но прежде чем перейти к новой фазе в моей биографии, я должен вернуться к началу, в одиночную камеру, куда меня втолкнули в потьминской пересыльной тюрьме и где я провел счастливые часы жизни, не подозревая, зачем меня сюда завезли. Я не ждал, что за воротами мне маячит уже, корячится Москва, и я начал обживаться, как обычно обживаются бывалые арестанты, попав на этап, – стучать в кормушку, кричать: «Начальник! жрать охота! пора обедать! и скоро ли, наконец, выведут меня в туалет?!»

Начальник, пожилой, краснощекий и тоже битый в наших делах старшина, похожий на Буденного, но толще и меньше ростом, с седыми, заправленными к самым бровям усами, дежуривший не по всему каземату, а только по одному нижнему его этажу, сейчас же отозвался и пригрозил мне весело карцером, если я не перестану орать, поскольку горячего мне сегодня не причиталось, бумаги на меня не оформлены и вообще еще не известно, кто я такой. К ночи он сжалился и сам, личной властью, вывел меня в уборную, а также сунул, не глядя, вечернюю пайку хлеба вместе с железной кружкой безвкусной, тепловатой воды. Вообще, я заметил, он был незлым, неопасным, притерпевшимся к тюрьме человеком. Он больше страдал и ругался, чем действовал по уставу. Я смирился.

Так ошеломляюще, невероятно звучало его извещение, что со мною толком не знают, как быть и куда отправлять, что я никто, ничей и вроде бы вне закона, эта новость была так легкомысленна и соблазнительна для меня, привыкшего ходить под конвоем на работу и таскать проклятые ящики, что я поклонился в душе этому благословиению свыше – не думать, что будет завтра, не ведать, что станет со мною, и жить, повинаясь волне, выбросившей меня, старую прогнившую рыбу, в тихую глубоководную заводь потьминской пересыльной тюрьмы. Нет, надеждами на свободу я не обольщался. Я желал одного – отделаться от выматывающего душу труда. И просидеть несколько дней, может быть неделю, если повезет, в спокойной одиночке, на перекрестке дорог, не работая, представлялось мне незаслуженной и неожиданной улыбкой судьбы, вроде ничем не оправданного, выпавшего по ошибке выигрыша в лотерею. Не только сердце – кости мои пронзило чувство безгрешной, сверхъестественной неизвестности. Будь что будет, а мы куда-то покурим!

Я оглядел исподлобья мою обитель. Она была сурова, она была правдива, эта дарованная мне Богом жилплощадь. Нары доходили до двери, и, сидя, я упирался в железную обшивку коленями. Было холодно, и свет лампочки, забранной в сетку высоко под потолком, чтобы до нее не дотянулись длинные руки урок, едва ли согревал помещение. Мнилось, электричество не рассеивает здесь, но нагоняет мрак. Лампочка словно чадила, насилуя себя, вкрученная в почерневший от времени и многократных перегораний патрон, трещащая, как душа человека перед смертью, – дряблая игла, нечистая нить, закосневшая в угрызениях совести...

Затем, почти машинально, я обежал стены в расчете прочесть, как случилось, заско-
рузные подписи тех, кто раньше, до меня, ночевали в этой дыре, препровождаемые дальше, по трассе. И тут же подивился мрачному искусству строителей и еще яростнее, нестерпимее

– не то, чтобы возненавидел их, но – оторнул от сердца. Камера сверху донизу была изъедена мелким рельефом, словно затоплена морем вздыбленных каменных волн. Писать по этой коросте было невозможно. Острые, кремневые гребни ломали любой карандаш, пожирали рисунки и символы. Ни крест начертить, ни бранное слово, ни имя, ни число предполагаемого отъезда, расстрела...

Тогда я извлек грифель, предусмотрительно зашитый в бушлате, и подержанную газету «Известия», которую, по прибытии, как заядлый курильщик, позаботился отклянчить на шмоне у грозного моего старшины. На газете, точнее на газетных полях и кое-где между строчками аккордных заголовков, не выпуская из вида круглый дверной волчок и густые пещерные отложения по стенам, я принялся неровной рукой наносить беглые знаки. Я сочинял, я писал, прекрасно понимая, что так не пишут, что все это ни к чему, и нары, на которых я примостился, поджидают других арестантов, более, может быть, достойных и наторелых в писательстве, чтобы помочь им не менее ловко сложить веселые головы. Я был безжалостен в ту минуту – и к тем далеким безвестным собратьям, грядущим по извилистым этапам России, и, слава Богу, к себе.

О чем я писал тогда, я уже не помню, и вряд ли из-под грифеля вышло что-то серьезное. Слишком я был раздражен, очарован этой невозможной стеной. С чем ее сравнить, с какой архитектурой? Она исключала малейший намек на пребывание здесь человека. Цементный пол в потеках и засохших плевках был проще ее и покладистей. Если б базальтовая скала, харкающая лавой, вздумала однажды рассказать о нашей посмертной судьбе в преисподней, она бы, я полагаю, прикинулась этой стеной, этим морем курчавого, разозленного дьяволом камня. Казалось, я угораздил в тот самый ад, который мечтал повидать, над которым посмеивался в ослепленные прожектором ночи лагерных аварийных работ, когда грузили железо под жестоким дождем и ноги разъезжались по трапу, грозя пропороть живот, вывихнуть и раздавить позвоночник несносной, не поддающейся смыслу и осязанию кладью, а я самоуверенно, осмелев, подмигивал осатаневшим ребятам, что это, дескать, еще не ад, а всего-навсего чистилище, – так вот ад, казалось, настиг меня наконец и проступил сукровицей сквозь расчесанную до крови, замешенную на серной, на царской кислоте землю.

А тюрьма между тем жила – полнее и вдохновеннее, чем мы живем, чем вы живете у себя дома. Снаружи тюрьма представляется средоточием отчаянья, бездействия и безмолвия. На самом деле это совсем не так. И перистальтика этапов куда напряженнее изнеженных европейских страстей, шоссейных лент, авиалиний, хоккейных и футбольных матчей, вашей почты, кино и вашего телеграфа. Впоследствии, много лет спустя, опускаясь в подпольные притоны Парижа, впутываясь в карнавалы Италии, на корридах в Мадриде, созерцая высокомерную эрекцию торговых контор и межведомственных небоскребов Америки, я никогда уже не встречал этот стиль, этот ритм, этот стимул жизни, каким страшна, притягательна и отрадна тюрьма.

Эфемерные, картонажные стены моей камеры содрогались. Я был мальчишкой со своей страстью к писательству по сравнению с этим стосильным, тысячеглавым эхом, которое разносилось по гулким сводам собора, пускай не столь прославленного, как Лефортово, Лубянка, как взбудораженная залпами ночных этапов Матросская Тишина. Но, сидя в отсеке захолустной пересылки, я уже почитал себя клеточкой, молекулой огромного Левиафана, плывущего в даль истории, без огней по бортам, но с огнями внутри, в трюме, с толпами поглощенных, проглоченных и все еще ликующих узников. Визг женщин, смех, пение, женские залиvistые переключки с мужчинами, которые не отставали и устанавливали контакт с минутной подругой по слуху, по мелькнувшей в уме, в недостижимой памяти юбке, ругань, шум начинающейся игры или драки, куда наш старшина кидался, как лев к обедне, для того, чтобы поглазеть, а потом и наказать сцепившихся в мокрый клубок борцов, во избежание смертных исходов, – все слагалось в мерную, легкую дрожь, пробегающую по камню, словно

по коже чудовищного животного. Только со второго, судя по всему, этажа членораздельной речью дохлестывались стоны и вопли какого-то сумасшедшего, бывшего в железную клеть, должно быть, всем телом и доказывающего под общий хохот, что он ни в чем не виновен. Помнится, он требовал к себе немедленно, сию же минуту, доктора и прокурора. А то он повесится! А я – записывал, записывал...

Когда я свалился в Москву, был, к моему сожалению, яркий, солнечный день. Вольняшки, как ни в чем не бывало, разгуливали по воздуху и делали, что хотели. Если бы погода была ненастной и народу поскромнее, город, возможно, не произвел бы на меня подобного впечатления своим режущим светом, который лишь увеличивался в присутствии чистых лиц, улыбок, расписных витрин и костюмов. Я пожалел, что у меня при себе нет черных очков. Шума я не слышал, но поле зрения было перегружено красками праздной, раздетой Москвы, так что голова кружилась и хотелось поскорее пройти незамеченным сквозь это гуляющее царство и спрятаться в какую-нибудь темную подворотню. Я опускал глаза в тротуар, чтобы их не видеть, и все же невольно фиксировал похожих на тропических птиц, на бабочек, на цветы мужчин и женщин, порхающих по накатанным до паркетного блеска панелям, умноженных зеркалами магазинов и автомашин. Мимо меня прогарцевала, ласково стуча каблучками, миловидная девушка с гордым лицом индейца, в коротенькой пурпуровой юбочке, едва прикрывающей бедра, с черным конским хвостом волос на затылке, которым она потряхивала в такт походке. Недоставало дротика в тонкой, смуглой руке. Должно быть, торопясь на свидание, она несла свой торс через весь город, как боевое знамя, – даже как-то немного впереди и выше себя. И я отвлеченно подумал, как дорого заплатили бы за этот сеанс у нас в зоне, пройдишь она там так же бескорыстно и независимо, как проходит передо мною сейчас...

У себя дома я кинулся к полке с книгами, по которым извелся за годы командировки, и не для того, чтобы читать, а просто так, ради свидания с ними, взял и раскрыл одну и даже загадал, что открывшаяся страница послужит мне чем-то вроде пророчества в моей новой, беспокойной судьбе. И только тогда заметил, что глаза у меня поехали и я не различаю самые обыкновенные буквы, хотя вчера читал и писал без видимого усилия. Отставил книгу на метр, на полтора и лишь с дальней дистанции едва разобрал цитату, показавшуюся мне неуместной и неостроумной насмешкой над человеком в моем положении. Это был Лермонтов, и строки мне запали:

Гусар! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан...

Безусловно, потеря была невелика, в особенности по сравнению с дарованной мне свободой. Все люди в моем возрасте страдают глазами, и как я до сих пор удосужился не ослепнуть, уму непостижимо. Но я ломал голову и зачем-то порывался поймать, в какой момент именно мое зрение отказало. То ли в последнюю ночь, на пересылке, когда я царапал грифелем по газете, надеясь перекричать и вместе с тем увековечить абстрактные голоса на стене, то ли немного позже, при виде столичной толпы, слишком яркой и радостной для моего потемненного ока. Либо, может быть, за пять-десять минут, исполненных страха, растерянности и злобного восторга, покуда мне зачитывали спущенный свыше приказ о досрочном освобождении, в которое я верил и не верил, принимая за новый подвох, за какую-то очередную шахматную задачу наших тороватых на подобные штуки владык.

Гусар! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан...

И я заплакал – не над своей слепотой, из-за которой, повторяю, не было причины расстраиваться. И не по безвременной молодости, которой, прямо скажем, было не так уж много. А по вставшему внезапно в сознании *седлу*, как я это назвал, разделившему меня на две половины, на *до* и *после* выхода из-за проволоки, – как будто предчувствуя, как трудно вернуться оттуда к людям и какая пропасть пролегла между нами и ними. Я плакал и видел *седло* в образе и форме очков, которые я надену в знак непроходимой границы, в память о газообразной, струящейся письменами стене, голосащими неустанно – и всё о море, о море...

И действительно, с очками, по-видимому, начался у меня перевал к чему-то не вполне основательному, не совсем нормальному в жизни, и все, чем я обладал вовне и внутри себя, мне как-то не удавалось схватить ни зрением, ни сознанием. С очками вообще поднялся в доме переполох. «Очки! Очки!» – кричала жена в телефон, названивая в Донецк, нашему старинному другу, имевшему связи в Лондоне, умоляя, по знакомству, выписать из-за границы точную английскую оптику. Тот не понимал, о чем речь, пугался, переспрашивал, а жена кричала:

– Очки! Даю по буквам: Ольга, Чекист, Константин, Ирина... О-чки!

Первое время я пользовался чужими очками, одалживая у друзей, либо чаще, для чтения, большой увеличительной лупой, в какие дети рассматривают бабочек и марки. Этому инструменту надоумил меня покойный дед со стороны матери, Иван Макарович Торхов, полуграмотный крестьянин, все последние годы своего преклонного возраста посвятивший уединенной молитве и перечитыванию Святого Писания с помощью зажигательного стекла, которое я, тогда ребенок, летом ему подарил. Как сейчас вижу, в деревне, доброго моего старика, который еле-еле передвигал большие калоши, но, восседая на веранде, бодро ползал по буквам и шептал по складам прекрасные имена, звучавшие для меня, безбожника, забавной абракадаброй:

«Авраам роди Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду и братию его. Иуда же роди Фареса и Зару от Фамары... Езекия же роди Манассию. Манассия же роди Амона. Амон же роди Иосию: Иосия же роди Иехоию и братию его в преселение Вавилонское...»

Впрочем, деду было несложно читать и перечитывать тугую славянскую вязь, поскольку, я понимаю, он знал ее на память и держал перед глазами Евангелие больше из уважения, ради телесного к нему и душевного прикосновения. Мне же, напротив, посредничество очков, привезенных вскоре из Англии, мешало общению с книгой, потому что, признаться, когда я читаю либо пишу, я предельно откровенен, я снимаю маску, привычно носимую в жизни, я мысленно разоблачаюсь в приязненном склонении к тексту, а здесь меня вынуждали натягивать на глаза вспомогательные рогатки, отдалявшие меня от бумаги, от мысли, от языка. Я начинал замечать, что я все меньше и меньше читаю и совсем уже редко пишу.

Правда, в окулярах скрывалось то достоинство, что стоило приладить эти плетенки на лоб, как я мигом выключался из текущей мимо меня жизни. Я был недоступен в моем скафандре. Бывало, нацепишь, – и нет тебя совсем, и не было на свете. Как если бы в очках мы становились невидимыми. Я пристрастился временами даже спать в очках. Но чаще просто сидел, при всех доспехах, в забрале, ни о чем не думая, не помышляя взять в руки перо. Сквозь плотные стекла, предназначенные для чтения, для рассматривания букашек, комната вместе с мебелью тянулась бесформенной водорослью, какую зарастают аквариумы. Едва улавливалась волна шкафа, волна дивана, стола и двух с половиной музейных кресел, не ведавших, зачем их сюда занесло, когда б однажды я не треснулся коленкой об угол и не скорчился от боли в маленького карлика:

– На кой чорт они нужны?! Да в них я вообще ничего не вижу!

Не знаю, или английский мастер что-то не так зашлифовал и начислил в моих мизерных диоптриях, как требовалось по рецепту, или с непривычки глаза не лезли в прицельную камеру и дублировали действительность в расстроенном и перекошенном образе. Правым глазом, казалось, я шарил зажигалку, как всегда терявшуюся, сливавшуюся с диваном в его ковровом рельефе. А в левое очко... Но надо ли уточнять, что мне мерещилось тем же временем слева? Смех, пение, женские залиvistые переключки с мужчинами, закосневшие отложения извести по стенам, от которых, однако, я был отторгнут, отгорожен, выброшен в мир из родимого зверинца, как безбожный плевок, как кал из-под одичавшей собаки... Так, выражаясь суммарно, переносил я наследие, доставшееся от дедушки, от матери, от отца, от Авраама и Исаака...

* * *

После выступлений Главного Прокурора и двух кооптированных КГБ, от писательской возмущенной общественности, партийных доброхотов, под несмолкаемые аплодисменты, я втащился в каталажку при судейском помосте только что не на руках. Нокаут! Опять нокаут!.. Адвокат, бледнея, третий день прибежал ко мне в перерывах, вместо тренера, удерживая от резкостей, от ответов судье Л. Н. Смирнову, умоляя не задираться. У Смирнова, уверял он, либеральная репутация в западных прогрессивных кругах, так что ему некстати было бы испортить себе физиономию в Европе в роли ординарного сталинского палача, уже выходившей к этому моменту из моды. Наше скользкое, писательское дело такому богу, как Смирнов, Председатель Верховного Суда РСФСР, явно не улыбалось и шло вразрез профилю авторитетного теоретика в области международного права, чего тот, в общем, по научной лестнице, с Нюрнбергского процесса придерживался. Все это была для меня какая-то галиматья, я не видел между ними различия, тогда как, по адвокатской догадке, Верховный Судья, на самом деле, сердцем, совестью и карьерой стоял на моей и Даниэля стороне и, играя в популярность на Западе, должен был, по идее, в мерах пресечения не завышать ставку. Сколько бы на судью Смирнова ни давили из КГБ, он сам – гора, рука – в ЦК, рука – в МК, в Президиуме, поймите – в Президиуме! и где-то там, у чорта в ступе, в Госплане, в Генштабе – еще рука!.. На руках Смирнова, как я понимаю, базировалась наша защита.

На мой-то поверхностный, непросвещенный взгляд, судья в нашем деле был опаснее любых обвинителей, едва, зашатавшись, гаркнули часовые, готовые упасть, со взведенными курками: – Суд идет! («Суд идет», «Суд идет», прокатилось по коридорам, и я вздрогнул – как взаправду: «Суд идет»...)

Адвокат успокаивал:

– Вам показалось! Никакой он не бурбон! Чистая видимость! Ездит за рубеж! Что ни год – на форум! Вице! Жду народные грессы ристов! Пейски широко разóванный! Рётник! Ральный, кагрица! Ральный, вам говорят! Ссивный, ктивный, манный, ящий Дья!..

Но я бы все равно за всем этим ему не доверился, когда бы в самом начале мой Следователь по особо важным делам, подполковник Пахомов, в сердцах не обругал Адвоката:

– Какой он адвокат?! Где это ваша супруга, Марья Васильевна, откопала... такого... такое?... – Он затруднился с эпитетом, но красноречиво поморщился:

– Есть ли допуск? Никто и не знает... в юридических кругах. Непопулярен. Нужно еще проверить. И почему-то, между нами, опять еврей? На мой вкус... лучше бы... вместе, подумав, порассмотрев, мы с вами подыскивали другого, настоящего защитника... А?

Прекрасный знак. Рекомендация. Если в КГБ недовольны – такого только и брать. Кое-чему, на ошибках, я с ними уже научился... В адвокаты? При чем тут?... Ах, да, с Адвокатом накануне суда, в те редкие, сумеречные встречи наедине, когда не ясно, кто кого больше боится, я ли Адвоката, Адвокат ли меня, мы, вроде бы, наконец, поладили в цене – на призна-

нии невинности, которое в следственном деле уже лежало за мной серебряной монеткой, а он сперва не решался к ней притронуться и все оспаривал эти копейки, пока я не уперся и не сказал, озлясь, что уж лучше откажусь от его защиты, если на то пошло, и он, как-то сникнув, разом согласился. Естественно, на процессе не мог он и заикнуться, что подопечный его невиновен; не мог он также вдаваться в оценки и в анализ подсудных произведений, что грозило бы ему самому переселиться на нашу скамью; но подмахивать обвинению, как это давно повелось у нас, он тоже сумел избежать и, ни с кем не споря, в одиночестве, в презируемом, танцевальном искусстве Адвоката, старался руками держать свое бескровное, перевернутое лицо. И я не в претензии...

Один только зуб, в общем-то, у меня остался на Адвоката. Да и тот прорезался позже, через несколько дней, когда я узнал с опозданием, что наш судебный процесс, оказывается, параллельно освещался в газетах, о чем Адвокат почему-то все это время умалчивал. Возможно, он дал подписку и опасался подслушивания? Но ведь не о помощи речь, не о добрых откликах с воли сюда, за камень, на остров, где все произрастает в извращенном образе, процеженное через вещего Следователя по особо важным делам. Речь о советской печати, доступной каждому, где вас уже мешают с говном, и чего было, спрашивается, утаивать от меня Адвокату?

Как раз в дни суда газету в тюрьме перестали выдавать: перебои с почтой. А я не догадался, что это обычный ход и не почта, а Пахомов, по должности, перекрыл информацию, способную раздражить обвиняемого. У него, у Пахомова, был уже небольшой опыт с газетой. С «Перевертышами» Еремина в «Известиях», за месяц до процесса. Будто невзначай, улыбаясь, он подsunул мне тогда на допросе эту заказную статью с обычной, конечно, у них воспитательной задачей – сломать. – Кстати, Андрей Донатович, почитайте, что о вас «Известия» пишут. – И смотрит с любопытством... Но, переворошив тот густой навоз, я почему-то оживился: – О Пастернаке, – говорю, – и не то еще писали. Семичастный, сколько помнится, сравнивал поэзию Пастернака с лягушкой, квакающей в гнилом болоте. А Корнелий Зелинский, вернувшись из заграничной поездки, сделал доклад в Союзе Писателей, что одно лишь упоминание имени Пастернака на Западе все равно что, извините, в культурном обществе, за столом, издать непристойный звук. Так и произнес: «непристойный звук»...

Подполковник крикнул.

– Да. Вышла ошибка.

– С Пастернаком ошибка? – обрадовался я.

– Не-ет, моя ошибка, – сказал он вдруг просто и честно, как-то очень по-человечески. – Что дал вам прочесть... Раньше времени...

И вот, на время процесса, газеты от нас отрезали. Зачем Верховному Суду скрывать от подсудимых собственный правдивый оскал, уже означенный в печати? – это я понимаю. Да чтобы мы не огрызнулись. Не заявили, чего доброго, какой-нибудь протест перед тем же Верховным Судом. В нарушение объективности. Но Адвокат?! Куда смотрел Адвокат?.. Что он – еще теплил надежду? Или опасался, – удостоверенный газетой, я буду держаться отчаянней, в противоречии с его концепцией и композицией защиты? Искренне желая спасти, он хватал меня за руки и не давал обороняться.

– Опять вы не так ответили Судье! Гол не в вашу пользу. Я же говорил: не спорьте со Смирновым! Спорьте, если хотите, с Тёмушкиным, с обвинителем. Это – ваше право. Тут мы ничем не рискуем. Но не трогайте, не раздражайте Судью!..

Я ничего не понимал. Просто у нас, вероятно, были разные задачи, и, разобщенные в судебной лапте, толком не объяснившись ни разу, мы с Адвокатом барахтались в словах, переставая узнавать окружающее. К тому же, накануне процесса пообещав встретиться, он словно провалился. И теперь, в антрактах, возникая из-под пола, интеллигентный Пьеро ломал пальцы и повторял:

– Вы топите себя в споре с Верховным Судьей! Топите! Наша цель – четыре. До пяти. Максимум. Не выше пяти. Вы угодите под амнистию. Годовщина. Юбилей революции. В 67-м всем до пяти – скинут. Не может быть, чтобы не скинули. Отсидите еще полтора, два, два с половиной, три...

И вновь куда-то проваливался. Но потому, как день ото дня он увеличивал и увеличивал стаж, туманный, загадочный, в бледной немочи ко мне, я догадывался, что за кулисами происходит неладное. Там, в делириуме судьи Смирнова, среди непостижимых абстракций, что-то правилось и творилось. Летали аэропланы за каким-то еще дополнительным сотрудником, свидетелем из Средней Азии. Звонили по телефону. Давали радиogramмы. Сговаривались. Медленный ужас вставал в пепельных зрачках Адвоката. Нарушая положение, он шел по самому острию леденящей юридической бритвы, ухитряясь обходить роковой вопрос о виновности подзащитного обидным Суду молчанием, и тонко, еле слышным голосом, вел полемику, казалось, с самим собой, с умыслом или без умысла я печатался на Западе. Верховник Смирнов на него уже рычал. Прокурор, вообще, не удостоивал внимания. Нет, по тем временам, в нашем пропащем деле, Адвокат вел себя стоически. Только – зачем он утаил судебные отчеты в газетах?..

Все они вылезали на меня сакральными, из Сорочинской ярмарки, харями: Адвокат, Прокурор, Судья. Они были похожи: в их близости исчезала реальность. По сию пору, ночью, стоит закрыть глаза, они начинают не свои, не Богом данные речи. Как в паноптикуме – не веришь, для смеха, понарошку что ли, чтобы только застрашать?..

На Прокуроре я не буду специально останавливаться. Его образ несложен. В черной паре, жгучий брюнет, с белой-белой, как это встречается иногда у истовых брюнетов, кожей, до исподней синевы выбритый, начищенный бриллиантином, мясистый, в сверкающих запонках, он смотрел гробовщиком или факельщиком в похоронной процессии и такого же подобрал себе черного, только ростом поплотнее, Помощника Прокурора, на протяжении всей церемонии, кажется, не раскрывшего рта. Всем физическим обликом он был списан с натуры и не требовал усилий ума или какой-то психологии, укладываясь в прокрустово ложе своего декорума целиком и полностью, чего, однако, никак нельзя сказать о судьбе Смирнове, в довершение насмешки именуемом – Лев Николаевич. Тот, производя впечатление доброго кабана, толстый, как все добрые, посапывающий, будто ему чесали за ухом, читая наши бумаги, – вдруг, с клыками, бросался на подмогу Прокурору, едва мы, обвиняемые, что-то пытались возражать. Удары, им наносимые с председательского сиденья, были прямы и стремительны. Он просто не давал отвечать и налетал шквалом, не справляясь с УПК. И так же легко и внезапно, растоптав, выходил из атаки, успокаиваясь в мирном делириуме. И великодушно приглашал Прокурора продолжить перекрестный допрос.

Либеральная его слава таяла на глазах. Да он, должно быть, того и добивался, ставя на карту повернее европейской рекламы. В те боевые дни он думал не о нас, разумеется, и не с нами воевал. Что мы обречены, было ему известно, как число в календаре, и сроки обусловлены. Льва Николаевича, я полагаю, снедали иные заботы. Он сражался со своими соперниками, с недругами, где-то уже в Президиуме, на Олимпе, что из ревности ему и подсунули это скверное дельце. А ну, теоретик, покажи на практике наши достижения в области международного права! Какой ты у нас, на всю страну, либерал?.. И Смирнов оправдал доверие и вышел из борьбы победителем. Его ожидало кресло Верховного Судьи СССР.

Вскоре после процесса, в Доме Литераторов, на товарищеской встрече писателей с чекистами, он сделал научный доклад, подводя баланс операции:

– Подсудимые были – оба – с высшим образованием. Поэтому, как Председатель Суда, я помогал Прокурору!..

Как видим, Адвокат не ошибся: во всем была виновата европейская репутация либерального Льва Николаевича...

Стоит ли, однако, глотать химическую, ядовитую пыль судебного разбирательства, если сановные лица пройдут перед вами лишь хороводом теней, способных смутить неискушенного наблюдателя, особенно в нашем тогдашнем поверженном состоянии? Нет, и под маской самой кровожадной скрывается живая душа, нисколько не загрубелая, а более мягкая и трепетная, пожалуй, чем это кажется на взгляд, со свойственными человеку мечтами и светлыми движениями, с разветвленной и сложной ведомственной игрой. А уж в домашнем либо в дружественном кругу, может быть милее и отзывчивее вы не встретите собеседника, и все мы вместе ему в подметки не годимся. Даже молчаливый Траян, начальник Лефортовской крепости, откуда нас возили на суд под личным его досмотром, послушав протоколы, полистав прессу, не выдержал и открылся слабой своей половиной:

– Да я бы их собственными руками пристрелил! Душа плачет!..

– А вы же знаете, – неизменно добавляла любящая подруга Траяна в салонах, куда они были вхожи, – вы же знаете моего Александра Андреевича – он мухи не обидит!

В развитие той же гипотезы о сердечности карателей сошлюсь на первую сцену из феерии «Зеркало», хотя сам я, признаться, с точно таким Следователем дела не имел и кое-что домыслил, опираясь на других очевидцев.

«Он (примирительно разводя руками). ...И все-то он знает! Все превзошел! Кандидат наук! Сотрудник Института Мировой Литературы!.. Так как же, Андрей Донатович, будете давать показания?

Я. Какие показания?! Господа! Простите – граждане! Меня с кем-то перепутали! Оклеветали! Это – недоразумение! Ошибка! Страшная ошибка! Вот у меня (*взглянув на часы*) через десять минут лекция в Сорбонне. Представляете – в Сорбонне! Через десять минут. Нельзя опаздывать... Тем самым мы ослабляем наш интернациональный детант! Потом, извините, жена может волноваться. У нее сердце и нервы. Если... Если я немного здесь у вас засижусь... Вы знаете, у нас маленький ребенок. Необходимо известить! Хотя бы по телефону, знакомым... (*Все смеются.*)

Он (внезапно посерьезнев). Все, кому надо, уже извещены. Не стоит горячиться. «Долгие проводы – лишние слезы», как сказано в старой поговорке. Читали Даля? Вот, вот. Народные поговорки обогащают русский язык... Кроме того, все от вас зависит. Живите с вашей женой. Читайте ваши лекции. Это законно, это разрешено – и жена, и лекции. Мы вас, если хотите, за четыре минуты доставим... Но что вы над собою наделали, Андрей Донатович! Зачем вы погубили свою молодую жизнь?!

(*Свет меркнет. В кабинете устанавливается кроткое ко мне сожаление. По знаку Следователя все на цыпочках выходят. Тихо звучит танго «Брызги шампанского», напоминающая о вступительной партии. Упорхнувший последним, Оперативник быстро возвращается за позабытой на полу телефонной книгой. С его исчезновением свет вновь набирает яркий, белый накал.*) Ах, Андрей Донатович! Андрей Донатович! Вы думаете – мы не люди? (*Утираясь рукавом.*) Думаете – не больно? У меня у самого маленький ребенок. Чуть побольше вашего. Звать Натальей. Знаете, утром или вечером подойдешь к кровати. «Наташа, говорю, Наташа, папка пришел с работы». А она смеется, прыгает на своих маленьких ножках. Тянется. Еще беззубая, а уже тянется. «Папка! – говорит. – Папка!» (*Плачет, уронив голову на стол. Потом, всхлипнув, тоненьким голосом запекает.*) «Топ-топ-топ, – топает малыш! Топает малыш!..» (*Рыдания.*)

Я. Да, да, я понимаю... Нам надо объясниться... И мне плохо, и вам нехорошо. Всем трудно. Я же вижу: интеллигентный человек. Чехова читали, Гоголя. «Вишневый сад», «Дядя Ваня»...

Он (подымая зареванное лицо). Так как же будем жить дальше, Андрей Донатович?!

Я. В каком смысле – дальше?..

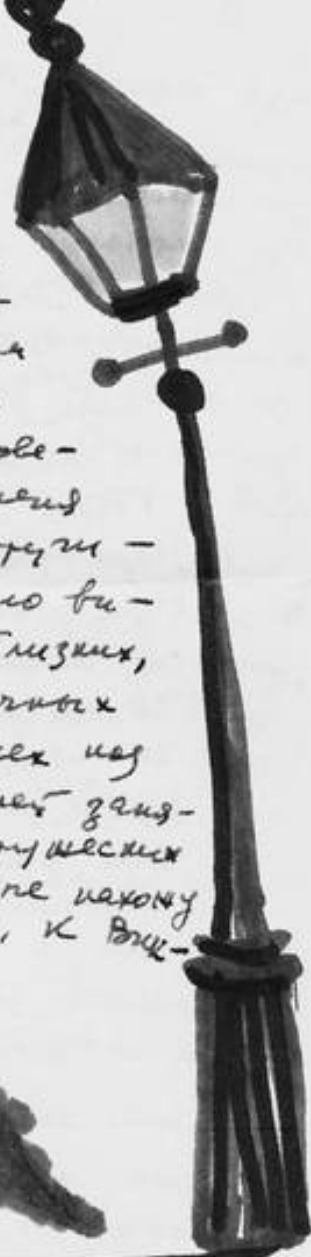
Он. Так будем давать показания? Или – нет? (*Барабанит пальцами по письменному столу, но более твердо.*) «Топ-топ-топ, – топает малыш!..» Будем давать показания?!..»

РАЗЛУКА, ТЫ, РАЗЛУКА

5 декабря 66

158

Вот с таким лицом и телом,
как на этой грустной картин-
ке, брошу я иногда по улицам
в зимних гостях. Рядом со
мной осталось всего 2-3 челове-
ка и не потому, что у меня
разладились отношения с други-
ми, а просто мне трудно ви-
деть очень многих, даже близких,
даже добрых, даже безупречных
друзей. Скрывалось от всех из-
за делом работы и крайней заня-
тости, растет количество дружеских
заговоров и обязательств, а я не нахожу
в себе сил сходить, например, к Вик-



И впрямь, в лагере был у нас такой и теперь еще, верно, свирепствует голубой майор Постников, куратор от КГБ. Допрашивая, наказывая, он любил поплакать. Сперва, когда ребята развели о странной его повадке, у меня мелькнуло: да в уме ли наш Постников – на подобной работенке недолго и свихнуться?! Или – вечный обман, камуфляж, плод особой подготовки в расчете растрогать, сбить с толку? С годами, однако, я научился рассуждать снисходительнее, допуская, что крокодиловы эти слезы бывалого куратора, которые случаются редко, но все ж таки случаются, вызваны той же, что и смех, потребностью души, жаждущей себя уберечь в условиях вредной профессии. Плачущий вызывает к нам: «Да поймите же, взгляните, в глубине души я добрый, сострадательный, а не какая-то скотина, как вы меня рисуете в антисоветских, между собой, разговорах!..» Это, может быть, способ напомнить и себе самому: я – человек!.. Или соблюсти реноме... Внешность... И только много позже я начал различать в загадочных этих слезах не меру самоохраны, но искренний и неподдельный порыв сердца, оскорбленного в лучших чувствах. Не он жесток, а мы жестоки по отношению к нему, подследственные и осужденные, мучающие попечителя нашими злобными кознями, упрямством, неблагодарностью. Мы, мы – палачи, в его страдающих глазах, и он с чистой совестью, чувствуя свою доброту, обижается за себя и оплакивает нашу неправду...

«Он. Как сейчас помню: детство, отрочество, как сказано у Горького... Вам повезло. Вы, Андрей Донатович, родились и выросли, нам известно, в городской, образованной семье. А я? я? – я вас спрашиваю... Отца не было: убит на фронте. Нас осталось пять человек детей. Я родом, между нами говоря, из-под города Борисоглебска...

Я. О! Борисоглебска?!

Он. Да. И у нас на всех – на пятерых – была одна пара валенок...

Я. Пара валенок?!

Он. Да. Но мы ходили в школу, и мы учились читать и писать. Тяжелые были годы, говоря между нами, Андрей Донатович. Разруха, коллективизация. Все это дорого стоит, дорого стоит... *(Задумывается.)*

Я. Конечно же! Разве я не понимаю. И, вы знаете, я не ожидал. У вас университетский значок? Два значка?.. Читали Чехова, Горького...

Он. Да-а... Бедная мать! Бедная наша мама! А ведь и у вас была мать, Андрей Донатович. Что бы вы ни писали в своих, мягко говоря, «сочинениях». Какая-никакая, но мать у вас все-таки была. Вы тоже человек. Была?

Я. Была...

Он. Ну так будете давать показания? Показания – я вас спрашиваю! Или вы навсегда потеряли стыд и совесть?..»

Нет, не мне тягаться в нравственности с поборниками порядка и власти, облаченными в броню морали более твердую, нежели все мои случайные и сомнительные мысли на сей счет. И я, продолжая мысленно защиту, сказал сам себе: ты – писатель! и все остальное не в счет! Пропадай пропадом, но будь собой, Абрам Терц. Не спорь с ними ни об этике, ни о политике, ни, упаси тебя, о философии или социологии, в которых ты все равно ни шиша не понимаешь. Сохранись в зерне, уйди под землю, сгинь, наконец. Но пока еще жив – снимай жатву. И если погран человеческий образ, уйди в писатели, окончательно и бесповоротно в писатели. И – стой на своем...

Стыдно сознаться, но весь этот разговор в душе, между судом и следствием, и весь этот, если угодно, роман, сочиняемый в антрактах, для роздыха, в ожидании приговора, затеян единственно в качестве доказательства, что я – писатель. Я – писатель!.. Рассыпсья в прах, воронье! Идите прочь!.. Забавляйтесь, сколько влезет. Растирайте с грязью. Преда-

тель? Враг? Смердяков? Изверг рода человеческого? Иуда? Антисемит? Русофоб?... Жид?! Жид?! Валяйте сюда и жида...

Под градом ругательств я как-то уменьшаюсь – линияю, линияю. Перестаю себя видеть. Все это вроде бы уже ко мне и не относится: «некрофил», «растлитель»... Страшно. Отсебятина. Отряхиваюсь. Ф-фу, чорт! И ничего не остается. Как объявили (и еще объявят) *матерубийцей*, и никто слова не замолвит, – о чем еще толковать? Спросят когда-нибудь: кто ты? кем был? как звать?.. Из гроба прошелестю: – пи-пи-пи-пи-писатель... Дайте мне бумажку, я чего-нибудь сочиню!..

Он. Побойтесь Бога, Андрей Донатович! Ну какой же вы писатель? На что это похоже? Сами посудите. На какой странице ни открою эти ваши, с позволения сказать, «опусы»: уши вьнут! Разве это язык? Одна похабщина!..

Я. Может быть, у нас просто разные литературные вкусы?..

Он. Ага. Вы хотите сказать, у меня дурной вкус? Допустим. Но мы же на экспертизу давали. Ученые, писатели... Сергей Антонов, Идашкин. Академик Виноградов. Уважаемые имена. И все в один голос (*читает в своих бумагах*): «явная антисоветчина, полуприкрытая порнографией и безыдейным формализмом»!

Я. Ну Идашкина я писателем не считаю...

Он (*с ехидством*). А Чехова? Чехова вы считаете писателем?..

Я. Чехова? При чем тут?.. К Чехову я вообще...

Он. Вот именно – вообще! Вы к Чехову *вообще* отрицательно настроены. Это что у вас давно началось? Классовая ненависть? Личная зависть? Или, может быть, влияние зарубежных радиостанций?.. Признайтесь, Андрей Донатович! Вам сразу станет легче. Я уверяю вас, вам сразу станет легче.

Я. Да я вашего Чехова... Всегда с почтением – Чехов, «Дядя Ваня»...

Он. Вот видите – «вашего Чехова»! Значит, «наш» Чехов – уже не ваш? «Наши» и «ваши»? Нечего сказать! Ну и змею, извините за резкое выражение, вырастили в Институте Мировой Литературы. (*Встает.*) Да, Андрей Донатович, да! Вы – правы! Чехов – наш. Чехова – мы любим. Мы *нашего* Чехова никому не позволим топтать ногами! Народ не допустит, Андрей Донатович! Народ на вас смотрит! Народ!..

Я. Против Чехова я никогда...

Он. И вам не стыдно? А это что? (*Роемся в бумагах.*) Пожалуйста. Ваш пасквиль: «Графоманы». С вашим примечанием: «Из рассказов о моей жизни». Читаем: «Взять бы этого Чехова за его тощую бороденку...» Да как у вас язык повернулся?! И после этого вы смеее заявлять, что вы – писатель?.. Удивляюсь. (*Лезет в ящик стола.*) Заполним протокол... (*В Зеркале над головой Следователя что-то мелькает. С шипением возносятся голубоватые струйки дыма. Слышится возглас: «Носилки! Носилки!» Ни я, ни Следователь не обращаем на это внимания.*)

Я. Все не так! Это – нечестно! Подтасовка! Это не я!..

Он. То есть как это не вы?! Тут черным по белому сказано: «я», «из моей жизни».

Я. Но это же прием такой, будто из моей. Художественный прием!

Он (*мрачно*). Известный прием и очень, очень художественный: террор!

Я. Да у него и фамилия там другая! Не моя! Посмотрите! Это же он про Чехова, а не я, не автор!..

Он (*смеется*). Ну вы мастер менять фамилии. Уж что-что, а переворачиваться вы умеете. Переворачиваться, изворачиваться...

Я. Но ведь я осуждаю этого человека, моего бедного персонажа, несчастного графомана... Это же всякому ясно! (*Вскакиваю.*) Во-вторых...

Он. Те-те-те. Не торопитесь. И сядьте на ваше место. Вам некуда спешить. *(Смеется.)* У вас впереди много свободного времени. «Тише едешь – дальше будешь», сказано в одной пословице. Штудировали Даля? Нет? Напрасно, напрасно. Народные афоризмы украшают русский язык... Не всё сразу. Давайте по пунктам. Ничего не поделаешь – канцелярия. Учет и контроль. «Семь раз отмерь, один – отрежь». Значит так – первое: вы осуждаете свои террористические намерения...

Я. Не свои! Моего героя! И почему террористические?..

Он. Вот-вот: *вашего* героя. Уточним. Вы раскаиваетесь в призывах к террору, которые вы замаскированным образом вложили в уста вашего героя. Правильно я вас понял? *(Записывает.)*

Я. Господи, вам говорят, это не мой герой, отрицательный, я не разделяю взгляды, я...

Он. «Я – не я, и лошадь – не моя». Так, что ли?! *(Смеется.)* Ваш герой – и не ваш герой. А где, поинтересуемся, у вас положительный образ? Где конструктивный, так сказать, бережный взгляд на Чехова? И чьи взгляды вы разделяете?.. Розенберга?!

Я. Какого Розенберга?

Он. Альфред Розенберг, идеолог и сподвижник Адольфа Гитлера.

Я. Вы что – совсем очумели?!

Он *(спокойно)*. Попрошу без оскорблений. С вами разговаривают как с культурным человеком. Вас культурно просят разъяснить ваши противозаконные действия. А вы – хулиганите. Предупреждаю. Все ваши выпады в адрес должностного лица мы занесем в протокол, а вы под ними поставите свою подпись – вот здесь. «Отольются кошке мышкены слезы», как сказано у Даля.

Я *(отворачиваясь)*. Ничего я не буду подписывать. Сами подписывайте свой террор. Да не забудьте сослаться на словарь Даля: «Бешеным псам – нет пощады»...

Он. Побойтесь Бога, Андрей Донатович! Вы никак – обиделись? Креста на вас нет! Да у меня просто манера такая – цитировать. Имея дело с писателем, иногда, знаете ли, впадаешь. «Век живи – век учись». «С кем поведешься – хе-хе! – от того и наберешься»... Может, вам, не дай Господи, помстилось, будто я какое-то там *давление* пытаюсь на вас оказать? Ну сами посудите! Какое давление? Какое?! Что я вам – угрожаю? Запугиваю? Бить собираюсь?..

Я. От вас, говорят, всего надо ждать...

Он. Нет! Не может быть! Неужто вы – вы! – на самом деле *так* подумали? так *могли* подумать? Я – не верю. Что ж мы не люди, по-вашему, Андрей Донатович?! Кстати, не хотите ли закурить? *(Подходит, протягивает пачку сигарет, подносит зажигалку, я с опаской затягиваюсь.)*

Я. Не то чтобы я думал... Но, понимаете, про вас, как бы это сказать, про ваш комисариат с давних пор дурная слава... И вначале я даже был приятно удивлен...

Он. Приятно удивлены?..

Я. Что у вас не бьют. Ведь раньше-то у вас – били. И не то что били. Пытали, мучили...

Он. Когда – раньше?

Я. Ну – при Сталине.

Он. При каком Сталине?

Я. Как при каком?! При Сталине здесь – били. Это все знают. Об этом даже ваша «Правда» писала!..

Он *(с упреком)*. Вот опять – ваша! *Ваш* Чехов, *ваша* «Правда»... Нехорошо – нехорошо. Недостойно. *(Расхаживает по кабинету. Приосанясь.)* «Правда», Андрей Донатович, это – официоз. Центральный орган, с которым никто не спорит. Но нужно же иметь и свое мнение! Пора иметь собственное мнение, Андрей Донатович!.. И кто вам все это внушил: бьют,

пытают?... У вас какое-то совершенно превратное, тенденциозное о нас представление. Ну кто вас бьет?

Я. А что вы скажете – при Сталине – не применялись пытки? Не было, по-вашему, нарушений законности в период культа личности?..

Он. Не знаю, не знаю. Я здесь тогда не работал и ничего не знаю... Все это очень преувеличено. Все это раздуто нашими идейными противниками, и не только идейными, Андрей Донатович. Но как вы могли, как вы можете всей этой ахинее верить? – вот чего я не пойму. Вы же наш человек, Андрей Донатович?!

Я. Наш человек?

Он. Разумеется. Вы – наш человек. Не считаете же вы себя врагом нашей Родины.

Я. Не считаю.

Он. Ну вот, ну вот Мы и договорились. И мы вас не считаем, между нами говоря. Неужели вы думаете, что если бы вы были врагом, настоящим врагом, мы тут с вами вот так бы сидели тихо-мирно, как интеллигент с интеллигентом, и беседовали о каком-то искусстве, о литературе?... Не хотите ли минеральной воды? Или, может быть, лучше чаю? Кофе?

Я. Если можно – чай.

Он. Одну секунду. *(Снимает телефонную трубку.)* Кто? Дежурный? Срочно, в кабинет 333 – чаю! *(Ко мне.)* Вы предпочитаете – крепкий?

Я. Если можно – крепкий.

Он *(в телефон)*. Крепкого чаю! *(Ко мне.)* С лимоном? Со сливками? По-английски?

Я. Нет-нет. Просто – крепкий.

Он *(в телефон)*. Просто крепкий! Шоколадные конфеты первой категории! Сахар! Печенье! Варенье! Сигареты! *(Ко мне.)* Вы что курите?

Я. Если можно – «Беломор». Или – «Лайнер».

Он *(в телефон)*. Две пачки «Лайнера» и две «Беломора»! Спички! Мигом! Одна нога там – другая здесь!.. Что это значит – нет «Лайнера»? Позаимствуйте в буфете! Что?! В гастроном! Как это некого послать? Направьте Чехова! Он у вас там все равно груши окочачивает! То есть как это не в состоянии? Передайте от моего имени – уволим на пенсию! Быстро! *(Вешает трубку. Ко мне.)* Так что же – во-вторых?

Я. В каких во-вторых?

Он *(проглядывая бумаги)*. Вы подтвердили, что, во-первых, осуждаете свое преждевременное клеветническое заявление о Чехове, призывающее к расправе над русской культурой. А во-вторых?..

Я. Неправда! Это – искажение! Я сказал...

Он. Согласен! Я все допускаю, Андрей Донатович! Но не станете же вы отрицать, что где-то в глубине души – ну, в самой глубине, – вы, мягко выражаясь, недооцениваете Чехова? Клянусь, об этом у нас имеются, вот в этом ящике стола, вполне проверенные, точные, сведения. Что ж теперь нам прикажете, по вашей вине, привлекать к судебной ответственности ваших друзей, свидетелей, ваших, между прочим, студентов, Андрей Донатович, за дачу ложных показаний? Где ваше сердце? Человеческое сердце! Откройтесь! Признайтесь! Уверяю вас – у вас с груди прямо камень упадет... *(Обращаясь к двери, хотя стука не было слышно.)* Да-да, войдите! *(Входит колонна тех же оперативников, сплошь переодетых уже в цивильное платье. У некоторых из-под брюк видны сапоги, у одного на голове застряла впопыхах фирменная голубая фуражка. Передний держит на подносе стакан чая. Второй – сахарницу. Третий – банку с вареньем, и т. д. Последний, самый маленький и зачуханный, тащит папирсы, попеременно роняя то одну, то другую пачку. Под негромкие звуки бра-вурного марша: «Броня – крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны!...» процессия торжественно обходит сцену.)*

Второй оперативник (*с сахарницей, отделившись от группы и щелкнув каблуками*). Товарищ подполковник, полковник сказал: шоколадные конфеты первой категории – в цейтноте! За неимением... (*Тот досадливо машет рукой, и при этом взмахе стол и фигура Следователя погружаются в полумрак, так что дальнейшие движения и речи оперативников ко мне как бы его не касаются.*)

Первый оперативник (*поднося стакан чая, интимно и таинственно*). Рекомендую вам, товарищ Синявский, с нашим подполковником вести себя как можно осторожнее. Форменный чорт! Он, знаете, кого допрашивал? Он Пеньковского допрашивал. Он самого Абакумова на Луну отправил! Будьте начеку!

Второй (*с сахарницей*). Ваш лучший друг, с воли, не называю по имени, вы сами знаете – кто?!

– велел передать – крайне, крайне конспиративно,

– что пора сдаваться. Все равно – просил он передать – они всё, всё про нас знают!..

Третий (*с вареньем*). Ваша семья в опасности!..

Четвертый (*неизвестно, с чем*). Подготовьтесь к самому худшему...

Первый (*вмешиваясь*). Завтра же освободят! Только ведите себя разумно...

Второй. Едва ли, едва ли...

Третий. Отсюда еще никто и никогда не возвращался...

Пятый. Они все могут!..

Шестой (*самый маленький, с папиросами, шепотом*). Я сам из бывших. Привет от Чехова. Он тоже советует лишний раз не залупаться. Сгноят!

Я. От Чехова? Антона Павловича?!

Шестой. Секрет! Большой секрет! Но Чехов советует лишний раз не залупаться. Желаю успеха!..

(*Шествие удаляется под ту же музыку. Следователь – в поле света – протирает глаза, будто проснулся.*)

Он. Очнитесь, Андрей Донатович! Сбросьте узы, которые вам мешают говорить со всей откровенностью! Будьте Человеком с большой буквы! И вам сразу станет легче... «Мы отдохнем, мы отдохнем!»

Я. Ах да! Опять Чехов! Милый Чехов! Знал бы он... Вы знаете, гражданин следователь...

Он (*мягко*). Меня зовут Николай Иванович.

Я. Знаете, Николай Иванович, я действительно до сих пор, по-видимому, как-то недооценивал драматургию Чехова... (*Он быстро записывает.*) Мне жаль, но бывает же так. Допустимы же разные склонности. Пускай ошибочные, субъективные. Один любит больше Чехова, другой – Гоголя. Разве это преступление? С вами такого разве никогда не бывало, Николай Иванович?..

Он. Конкретнее, конкретнее! Что вы имеете в виду? Какие политические выводы хотите вы сделать из своих ошибок?

Я. Ну, предположим, одно художественное произведение вам нравится, а другое не очень. С вами не случалось?

Он (*сдерживая ярость*). Со мною случалось. Со мною все случалось. Я и на фронте воевал, уважаемый Андрей Донатович! Я после фронта с бандами боролся в Закарпатской Украине. В Литве. В Венгрии...

Я. Но я не про то. Вы же меня обвиняете, что я Чехова недооцениваю. А вы лично, Николай Иванович, кого предпочитаете – Чехова или Гоголя?

Он. А я всех предпочитаю. Всех. И не пудрите мне мозги! Пока что я вас допрашиваю, а не вы – меня. Извольте отвечать. И без увиливаний! Без этих ваших выкрутасов!

Я. А вот Лев Толстой, например, утверждал, что драматургия Чехова даже хуже, чем драматургия Шекспира. А Шекспира он вообще...

Он. Но вы же не Шекспир?

Я. Ну, конечно, я не Шекспир, кто же спорит?

Он. И не Лев Толстой.

Я. И не Лев Толстой, разумеется. Но вы бы Толстому в подобной ситуации – рассуждая отвлеченно – инкриминировали Шекспира? Или – Чехова? Или – как?

Он (*жестко*). Вот именно – или как! Мы, Андрей Донатович, с вами здесь не отвлеченные вопросы решаем. А вполне конкретные, политические диверсии, которыми вы занимались на протяжении десяти лет вашей подпольной работы... А до Шекспира мы дойдем, не беспокойтесь. И Лев Толстой от нас с вами никуда не убежит. И Гоголь. Мы до всего доберемся. Постепенно, поэтапно... Итак, вы признаете, что уже давно, со студенческих, может быть, лет, ненавидели Шекспира и Чехова, в особенности патриотические пьесы последнего – «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры», которые пользуются заслуженным успехом в постановке театра МХАТ даже за рубежами нашей необъятной Родины... Не так ли? Даже заклятые враги социализма признают патриотическую силу этих творений, в то время как вы...

Я. Заодно с белогвардейцами...

Он (*хлопает по столу*). Не валяйте дурака! Я старый чекист! Да мы таких к стенке ставили в 18-м году! Без дискуссий!.. (*Из Зеркала начинает валить белый дым, но Следователь не замечает, надвигаясь на меня с нарастающим по ходу речи, нарочитым раздражением.*) Вы что здесь – на курорте? Чаек попиваете? Варенье? Печенье? А мои дети во время войны сливочного масла не видели! (*Терзает китель, будто ему душно.*) Да я за Чехова, может быть, кровь проливал! Людей из землянок, из-под земли, огнем выкуривал!.. (*Дым усиливается. В Зеркале блещет вольтова дуга и слышатся приглушенные выкрики: «Кассету! Не та кассета! Опять ты, Пашка, напортачил! Это же Пушкин! Пушкин, тебе говорят!..»*) Следователь в недоумении хлопает глазами. В то же мгновение раздается пронзительный телефонный звонок. Снимает трубку.) Слушаю. Кто?! (*Подтягивается.*) Я на проводе... Все в порядке... Нормально. Протекает нормально... Как?.. Виноват. Исправлюсь! Будет сделано! Будь-сде!.. Заверяю: будет исправлено... Ну что вы! чисто педагогически. Превентивные меры... Нет, еще не дошли... Понял. Вас понял. Сию же минуту... Ясно. Рад стараться!.. Есть! (*Кладет трубку. Свет в Зеркале меркнет. Следователь выходит на середину сцены, закуривает. Руки у него трясутся. Ко мне...*) Ну, так что?..

Я. Что – что?

Он. ...Тяжело с вами, Андрей Донатович! Тяжелый вы человек. Как еще ваша жена терпит? Нет в вас чуткости. Нет этого самого, элементарного чувства дружбы, сотрудничества, доверия к человеку. Все стараетесь доказать свое «я». Скромнее надо быть, скромнее... Проще. Вот вы меня чуть до инфаркта не довели...

Я. Я – вас? До инфаркта?

Он (*подходит к аптечке, что-то нюхает и жует*). Да-а. Чуть мне в горло не вцепились. (*Передразнивает.*) «Чехов! Чехов!» А кому нужен этот ваш, извините за выражение, Чехов? Пристали, как банный лист...

Я. Но вы же сами!.. Только что, вот здесь, меня к стенке хотели... За Чехова!..

Он. Так уж сразу и к стенке?.. Так уж и за Чехова?.. Или вы притворяетесь, как всегда, или я не знаю, за что вам дали высокое звание кандидата литературных наук. Вы что – маленький? Вы что – не понимаете? Разве в Чехове дело? Не-е-ет! Смотрите глубже. Шире. Не в Чехове соль...

Я. Да где ж тогда? В чем?..

Он. И вы не видите? До сих пор не поняли? Нет? Ну, если хотите – исключительно из личного к вам расположения, – я помогу, подскажу... Так уж и быть. Начинается – на «пе»!

Я. Как это – на «пе»?..

Он. Да что вы – ребенок, что ли? Побойтесь Бога. Состав – состав вашего преступления – начинается на «пе»! Даже могу для вас пойти дальше, сказать больше – переходя уже почти границу доверенной мне, государственной тайны: начинается – на «пу». Из шести букв. Одно слово. Все еще не догадались? Бедненький! Он боится произнести! Младенчик! Ну давайте вместе. Пу-у-у...?

Я (*выпаливаю*). Пурген?!

Он. Какой еще – Пурген? Планета, что ли? Нептун. Плутон. Я что-то не припомню...

Я. Да нет, по медицинской линии. Что-то вроде очистительного...

Он. А что, Андрей Донатович, у вас связи в медицине? И давно? Э-то что-то но-венькое! Ин-терес-но! Ну и что вы делали вместе с этим Пургеном?

Я. Ничего не делал. Просто в голову пришло. Название такое. Лекарство. Из шести букв. Пурген.

Он. А-а-а... А я, признаться, уже подумал... Эге-ге, подумал, наш-то Андрей Донатович, шалунишка, метит куда выше наших скромных предположений. Вы не обижайтесь. Ведь история науки знает много подобных казусов. Отравления колодцев. Водоемов. Ликвидация ответственных работников токсикозным способом под видом госпитализации. За медициной в наши дни, между нами, – ох, какой глаз нужен за медициной в наши дни! (*Переходя на шепот.*) Ведь у них – в шкафах – все яды! Я-ды! Под видом лекарств. Вот вы думаете – я знаю, я заранее знаю все, о чем вы думаете, – что нет и не было никогда этих, с позволения сказать, «врачей-убийц». Выдумки, дескать, пустые звуки. И правильно делаете, что так думаете. Пока что, в данный политический момент, – так и надо считать. Но мы-то, мы-то – знаем! Вы не знаете, поскольку вам не положено. Но мы-то – зна-ем! Бы-ли! Не все, конечно. Но были – врачи-убийцы. И кому, если не нам, посудите сами, об этом помнить?..

Я. Но не меня же! Не меня, гражданин следовательно, Николай Иванович, не меня – подозревать в отравлении! Кого я мог отравить? и чем? – пургеном?..

Он. Всякое бывает... И потом, Андрей Донатович, – у каждого из нас есть своя в жизни романтическая мечта... Однако вернемся к нашим баранам, как говорили древние. Начнем сначала. Первый блин комом. Напоминаю вторично: на «пу», из шести букв. Пу-у-у?!.

Я. Пудель!

Он (*подумав*). Собака?

Я. Да – собака. Есть такая порода собак – пудель.

Он. И вам не совестно? Я краснею за вас, Андрей Донатович. Вы же – мужчина! Мужчина! Не хотел бы я сидеть когда-нибудь на вашем месте, но если бы довелось – честное, благородное слово, – я бы не вилял, я бы не хитрил, я бы не придумывал «пуделя». И я бы не смеялся. Потому что хорошо смеется тот, Андрей Донатович, кто смеется последним. Я бы сказал, глядя правде в лицо, такому же прямому, каким бы вы были на моем месте, стражу закона и долга, сказал бы, как мужчина мужчине: да, вот здесь я виноват, очень-очень виноват, каюсь, а с этой стороны, с Чеховым, увольте, не причастен. И вы бы тогда, уже за одну эту мою бескомпромиссную правдивость, за мужскую прямоу, меня под честное слово отпустили бы, промолвив: езжай-ка ты, братец, Николай Иванович, домой, к своей семье, к ребенку, который без тебя скучает, и больше не глупи! Но так унижаться, как вы сейчас унижаетесь, со своим «пуделем»? – нет, я бы не стал. Лучше принять и вытерпеть любое наказание... Вижу-вижу, по глазам вижу: вы всё еще надеетесь, что это пройдет, что это сон какой-то, мираж – пудель, пустяк, пудинг, пупырь?! А это – реальность, Андрей Донатович. Я говорю вам об этом, потому что искренне желаю добра. Ре-аль-ность! И поэтому, для облегчения вашей совести, вашей участи, еще раз, в третий раз, попробуйте вспомнить.

«Пу», слово на «пу»! Могу, если хотите, еще немного уточнить. Намекнуть... *Писатель!* И никуда уже не денетесь: у вас на прицеле писатель на букву «Пу». И ни «пурген», ни «пудель» не имеют к нему, можете мне поверить, никакого отношения. Ну вдумайтесь, соберитесь с мыслями, напрягитесь! У вас последний шанс в жизни сказать правду. Повторяю: писатель, классик, русский классик, из шести букв...

Я. Пушкин!

Он (*откидываясь в кресле*). Наконец-то! Правильно: Пушкин!.. Тот самый Пушкин, который, следуя вашим словам, где это? (*роется в бумагах, цитирует*) — «на тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох...» (*Хохочет.*) Откуда вы это взяли, что у Пушкина, вдруг, эротические ножки?.. Ну да ладно, ладно! Всему свое время... Поймите, Андрей Донатович, этим словом из шести букв, в данную минуту, в последний момент, вы, может быть, спасли свою жизнь. Пройдут годы, десятилетия, и вы еще вспомните с благодарностью этот день, это чудное мгновение, и скажете мне спасибо за то, что я заставил — нет! — уговорил вас сказать правду. Ваш прямолинейный ответ — «Пушкин!» — зачтется вам и в окончании следствия, и в определении приговора. «Пуделя» и «пурген» мы не занесем в протокол. Мы не злопамятны. Но «Пушкин» уже всегда, вечно будет стоять — как облегчающее вашу вину чистосердечное признание! Поздравляю! от всей души поздравляю!..

Я (*обеспокоенно*). А как же Чехов? Чехов все еще на мне?..

Он. Да нет сейчас никакого Чехова! Плюнуть и растереть! Чехов — мелочь. Опечатка. Чепуха. Просто под прикрытием Чехова вы протаскивали куда более далекие планы и виды на Пушкина. Пушкин — вот в чем суть! Пушкин — ведь это целый континент! Широкий горизонт, свободное дыхание — Пушкин! Вы же сами, как художник, тонко чувствующий звуки, должны понимать, что Чехов — не звучит. Подумаешь — какой-то Чехов! Пхе! Кто его помнит — комика, нытика. Вроде Зоценки. Но Пушкин! Пушкин! — это... Эпопея! Эпоха!.. (*Пауза.*) И уж Пушкина-то мы вам в обиду не дадим. Пушкина — мы любим. На Пушкине все сойдутся. Пушкин всем дорог как национальное достояние. И вот здесь-то мы вам, дорогуша, с вашего позволения, дадим по лапам. По лапам! По когтям! А не ходи в наш садик! А не прогуливайся под ручку с неизвестными душеведами из иностранного посольства вокруг нашего нерукотворного Памятника! (*Смеется, переходя на резкую, гневную интонацию.*) Это вам не царский режим!

Я. Пойдите! (*Озаренный внезапной догадкой.*) Вы давеча то же самое о Чехове говорили. Вернемся к Чехову...

Он. Но вы же сами признались — Пушкин.

Я. Нет, Чехов. С Чехова все началось.

Он. Кончайте митинговать!.. Вы почему нашему Пушкину приписали тонкие ножки? Откуда вы знаете, какие у него были ноги? Вы что с ним, в бане мылись? Да после таких слов вы просто второй Дантес! В чьих интересах вы занижаете немеркнувшее значение Пушкина?!

Я (*упершись*). Значение Чехова я всегда преувеличивал.

Он (*не слушая, с пафосом*). В то время, как во Франции де Голль рвется к власти, в тот момент, когда в Новой Гвинее свирепствует мировая реакция, ваши злобные нападки на Пушкина, по указке Пентагона, льют воду на руки сторонников холодной войны. Вы играете краплеными картами на мельницу противников в нашей разрядке международной напряженности. Расовой дискриминации! Классовой стабилизации! Нацизма, маоизма, сионизма и абстракционизма! Да как вас только земля еще носит?!

Я. Напротив, абстракционизму Чехов хотел...

Он. Мало ли что хотел! Но существует логика, Андрей Донатович. Логика истории. Логика международной борьбы. А логика, — говорят факты, — упрямая вещь. Учитесь мыс-

лить! Мировой империализм спит и во сне видит, как бы выбить у нас из-под ног великое наследие Пушкина и подставить вместо него какой-нибудь гнилой коктейль-холл, какой-нибудь конан-дойль...

Я (не слушая). Вместе с Чеховым мы ставим барьер холодной войне и переходим на горячую. «Три сестры» зовут братские народы Гвинеи: в Москву! в Москву!.. Ванька Жуков, кидая гранату, кричит империалистам: вам «Епиходов кий сломал», а нам «дом с мезонином» и «небо в алмазах»!..

Он. Тоже мне сравнили! «Капитанская дочка» у Пушкина – на тачанке – строчит из пулемета...

Я. «Каштанка» Чехова – кавалерия. Вперед, Каштанка, ура!

Он. Тяжелые орудия бьют без промаха: «Борис Годунов», «Борис Годунов»...

Я. «Чайка»! Забыли? Авиация!

Он. Разведка и контрразведка – «Мцыри», «Мцыри»...

Я. Так не играют! «Мцыри» – это Лермонтов!

Он. Какой же это Лермонтов?.. Ну и пусть Лермонтов. А с вашей «Каштанкой» вы забыли главное! Вы забыли «Евгений Онегин». Ведь «Евгений Онегин» – это глобальная ракета на голову Америки! После «Евгения Онегина» от ихних небоскребов только барахло собирай...

Я. А все же Чехов...

Он. Не Чехов, а Чушкин!

Я. Не Чушкин, а Пехов!

Он. Нет, Чушкин!

Я. Нет, Пехов!..

(Включается ровный шумовой фон, заглушая наши голоса. Речь переходит в жесты, спор – в пантомиму. Мы снимаемся с мест, бегаем друг за другом по сцене, отчаянно доказываем, рвем на себе волосы, камзолы, хватаемся за сердце и яростно артикулирующими ртами произносим что-то уже неслышное. Допрос в это время напоминает дуэль – фехтование на шпагах из «Капитанской дочки». Однако нападающий он, а я защищаюсь, парирую удары, увертываюсь, отступаю... На фоне негромкого ровного шума и наших танцевальных па, все перекрывая, вступает далекий и очень чистый женский голос – контральто – поющий романс Глинки на слова Пушкина.)

Голос. Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты!
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты,
Как гений чистой красоты...

(По мере звучания этой ангельской музыки, я начинаю тревожно прислушиваться, озираясь, как если бы что-то смутно до меня долетало, хотя голос звучит недостижимо для нас, где-то за нами и над нами, и фехтование продолжается, затягиваясь, быть может, на несколько часов, дней, а то и на несколько лет. В итоге этих оглядок и явного превосходства противника, я отступаю и падаю, сраженный его беззвучным, неопровержимым жестом-аргументом. Он подхватывает меня, усаживает, подносит нашатырный спирт из своей настенной аптечки. Музыкально-шумовая, сумеречная завеса спадает, мы вновь возвращаемся к трезвому свету дознания. Я прихожу в себя.)

Он. Ну вот и прекрасно! Как вы себя чувствуете? Головка не кружится? Не хотите ли прилечь? Мы можем вызвать врача, Андрей Донатович...

Я. Не надо... Спасибо... Уже прошло... Просто мне что-то послышалось... помутилось... Никто не пел? Вы не слышали?

Он. Когда?

Я. Вот только что, где-то здесь, – никто не пел?

Он. Бог с вами! Кому здесь петь?.. (*Смеется.*) У нас не филармония... Вы слишком восприимчивы... Не о чем беспокоиться. Все идет как надо. Как быть должно. И хотя нам с вами пришлось много поработать сегодня и поспорить, большая часть неприятностей уже позади.

Я. Уже все кончилось?

Он. Ну – не все. Но почти все. Вы же удостоверили факт вашего... ваших, как бы это сказать, недостаточно правильных формулировок, касающихся Пушкина?

Я. Правильных? К Пушкину вообще неприменимо это понятие – правильные формулировки...

Он. Вот и хорошо. (*Записывает.*) Ол-райт, как говорят англичане... И потом, вы же согласились, что, рассуждая строго логически, вы, возможно, сами того не желая, не подозревая, играли на руку нашим – и вашим, Андрей Донатович, – и вашим недоброжелателям!..

Я. Кто знает заранее, кому он играет на руку? Даже, вероятно, сам Пушкин не ведал...

Он. Великолепно сказано! (*Записывает.*) Не знаю, как у вас, но у меня к вам, в результате нашего содержательного собеседования, несмотря на отдельные и даже принципиальные разногласия, появилось чувство какого-то душевного контакта. Взаимопонимания, взаимопомощи. И я вам стараюсь помочь во всем, что в моих силах, и от вас жду такой же ответной поддержки. Но ведь так и должно быть между людьми? Не правда ли? Как вы считаете?

Я. Я не совсем улавливаю. У меня как-то все перепуталось в голове. Смешалось...

Он. «Все смешалось в доме Обломовых» (*смеется*). Бывает, бывает. (*Доверительно.*) Но было бы нежелательно, крайне нежелательно, если бы собственные ваши признания воспримете словно какую-то внешнюю обузу, чуть ли не навязанную вам насильно с нашей стороны. Всякий человек обязан самостоятельно прийти к жизненно важным решениям. В том числе к пониманию своей виновности...

Я (*вздвинув*). Но я же не признал себя виновным.

Он. То есть – как это? Невзирая на факты?

Я. Невзирая на факты.

Он. Вопреки логике вещей? Логике истории?

Я. Пускай хоть вопреки логике. Не признал.

Он. Ну, знаете ли!.. Впрочем, воля ваша. Угодно капризничать – пожалуйста. Вам же хуже будет. Да и не вам, в конце концов, определять степень своей виновности. Для этого есть иные инстанции... С вас на сегодня хватит.

Я. Так я свободен?

Он. На сегодня – свободны.

Я (*вставая*). Я могу идти?

Он. Куда идти?!

Я. Ну я не знаю – домой?

Он. Вы шутите! Мы с вами только-только начали разговаривать. Только во вкус вошли. А вы – домой!

Я. Что же со мной... делать теперь?

Он. Как – что делать? Судить будем, судить.

Я. А когда? Нельзя ли поскорее?

Он. Ишь вы какие быстрые! Да у нас сегодня, Андрей Донатович, самый первый, самый предварительный день допроса.

Я. И много еще допросов?

Он. Это от вас зависит. Исключительно от вас.

Я. Нет, я хотел узнать, сколько примерно дней допрашивают, ну, таких, как я, — до суда?

Он. По-разному. Сто допросов. Двести допросов. Всё в руках человеческих...

Я. Сто допросов?!

Он. Да. А сегодня — первый. *(Снимает трубку.)* Дежурный? Заберите подследственного! *(Ко мне.)* Да вы не волнуйтесь: мы во всем разберемся. Во всем. Нет ли у вас каких-нибудь жалоб ко мне? Дополнений? Разъяснений? *(Встает.)*

Я. Нет. У меня ничего нет.

(Входят три оперативника, из той же группы, в военной форме.)

Он. Произведите общий досмотр заключенного. Раздевать не надо. Потом. *(Ко мне.)* На все ваши вещи будет составлена опись. Можете не сомневаться: у нас ни одна нитка не пропадет!

(У меня забирают портфель, извлекают оттуда книги, тетради, снимают часы, ощупывают, хлопывают, выворачивают карманы и все складывают на край стола, перед следователем. Под конец снимают ремень.)

Я. Зачем же ремень? Как же без ремня?

Первый оперативник. Так положено.

Второй. А это, браток, чтобы ты не удавился.

Третий *(еще раз проверяя карманы, полушепотом).* Не тушуйся! Может, еще отпустят...

Он *(из кучи на столе брезгливо берет двумя пальцами носовой платок).* А это еще что у вас?

Я. Носовой платок.

Он *(еще брезгливее).* Можете взять обратно. *(Через помощников платок возвращается ко мне. Все вещи, вперемешку, складывают в портфель и уносят.)* До завтра, Андрей Донатович! Вас, я полагаю, покормят. Желаю вам доброй ночи. Приятных снов.

Первый оперативник *(шипит).* Руки!

Я. Что — руки?

Первый. Руки назад! *(Меня выводят.)*

Он *(несколько секунд стоит в неподвижности, трет лицо ладонями, как человек, глубоко уставший).* Ну и денек! *(Набирает номер по второму телефону.)* Товарищ генерал?! Да, это я беспокою. Код 686. Разрешите доложить? На сегодняшний день — закончили. Что?.. С большим удовлетворением... Расколется — куда ему деваться? Уже поддается... Да, да, многое признал... Но ведь только начали, товарищ генерал! Только самое начало!.. *(Вешает трубку, подходит к моему столику и выпивает остывший чай, который оставался нетронутым.)* «Мы отдохнем, мы отдохнем!» *(Снимает другую трубку.)* Дежурный? Приведите следующего! Ну из этих, из свидетелей. Давно ждет? Полтора часа? Ничего — это ему на пользу! *(Вешает трубку. Прохаживается.)* «Мы отдохнем...»

(Занавес)

* * *

В ожидании приговора нас развели по камерам. Верховный Суд не спешил объявить свое грозное слово. Пауза непропорционально затягивалась, потому что приговор был, конечно, уже готов и нуждался лишь в длительной выдержке, создающей торжественный образ, будто в напряженном антракте его тщательно вырабатывают. Как в такие часы ведут себя другие арестанты, я не знаю. Но после бесплодной борьбы и очевидного проигрыша мной овладело спокойствие обреченного, скинувшего тяжесть забот на шею чужого дяди.

Обещанный семерик лагерей плюс пять ссылки, как затребовал Прокурор, простирались впереди настолько необозримой равниной, что проще было вообще об этом не думать, нежели с нетерпением ждать увенчания Суда.

Не я первый, не я последний. Приговоренные к высшей мере, как правило, не допускают, чтобы их всерьез расстреляли. Случается, в минуту выслушивания они смеются, думая, что над ними подшучивают. Томление, говорят, начинается уже в смертной камере... Двадцатилетники и двадцатипятилетники, дожившие до нашего плаванья, лишь иронически похмыкивали, когда им лепили срока. Они ждали скорее светопреставления, чем рассчитывали отсидеть предусмотренное. Теперь они, постарев, досиживая остатки, потешались над молодой, забубённой своей головешкой, не верившей, что такое возможно. Каждый из нас по-своему спорит с правдой, выходящей за границы рассудка.

По неопытности, сдуру, покуда не пожаловал суд, я стал качать права у коменданта, уговаривая побыстрее перевести Даниэля ко мне либо меня к Даниэлю. Такой порядок, я слышал, всегда практиковался в конце судебного мытарства. Подельников на последних сводят вместе, в одну камеру, как ненужный уже суду, отработанный шлак. До той поры из Лефортова и назад, на ночь, меня с Юлием возили в разных воронках, чтобы мы не перекрикнулись. Сейчас, по-видимому, эта надобность отпала, и нас без греха могли бы соединить. Но чем настойчивее, естественно, я просился к Даниэлю, тем вернее отрезал себе всякую надежду на встречу. Тюремщики любят следовать путем, обратным страстному надоеданию арестованного. Вот если бы мы разругались, поссорились вдребезги, как это нередко случается с обезумевшими однопдельцами, нас держали бы теперь вместе взаперти: пусть перегрызутся! Я еще не усвоил, кто мы на самом деле в их разгневанных, похолодевших очах. Наш союз с Юлием почитался у них вражеской вылазкой, буржуазной пропагандой... Они согласно кивали головами: «Да, да, Даниэля к вам безусловно переведут... Это уж такое правило. Закон. Не беспокойтесь. Потерпите еще немного...» Потом: «Понимаете, какая беда – не нашлось конвоя. То есть мы дали, конечно, конкретное указание. Но комендант забыл или перепутал. Я помощник коменданта. Уверяю вас, в Лефортовском изоляторе вы непременно встретитесь. Успеется, насидитесь еще вместе, вдосталь, еще надоест, куда вы оба торопитесь?! И разъединили уже прочно, надежно, до окончания лагеря...» До сей поры не пойму, чего они так опасались?

Мне лишь бы на общей тризне обняться с Даниэлем, разведать о здоровье, поздравить с крещением в ледяной судебной воде, обговорить, перебив детали, механику выискивания, подслушивания и, наконец, следствия, когда, загибаясь, он выгораживал меня. Я-то все это видел изнутри, из самого, что называется, естества, из мяса, – по протоколам допросов. Любовь моя, гордость моя, Даниэль – это король. Но не о том слово – первое слово, которое, до зарезу, мне было необходимо сказать.

Был у меня тяжелый сон, в самом еще начале нашего ареста и дела. Я увидел Юлия рядом, в камере, расположенной реально от меня, может быть, за тридцать, за пятьдесят камер, за камнем, за железом, – всего вернее, на другом этаже. Он сидел по-татарски, калачиком, на точно такой же, на которой я спал, койке, поджавшись к стене, с ногами, бледный, изможденный, в разодранной рубашке. Но что меня больше всего резануло тогда в Юлии, – на груди у него, на шее, на черном лаконичном шнурке, висел крест. Чего это он? – я подумал. Религиозностью не отличался. В христианство не путался... Конечно, если рассуждать, крест, он все перекрещивает, перекраивает в нашей балованной жизни, начиная ее заново, от нуля. Вы можете до этого быть кем хотите. Но стоит загореться кресту, и вам крутой перелом, конец, крест. Не то чтобы непременно человек умирал. Видоизменялся. Пусть он себе живет, плодится и размножается. Но каждому из нас, хоть раз в жизни, в знак моста, в напоминание о реальном, был переброшен крест. Не пугайтесь, не обязательно в виде какого-нибудь орудия казни или ноши, которую теперь изволь кряхтеть до неба. Нет. Только засвидетельствуй,

признай, поройся в памяти: он был предъявлен. Совсем и не твой, возможно, а чей-то чужой крест. Но рано или поздно, куда ни прячься, он будет тебе поднесен. И – прямо к губам...

Во сне, натурально, в это во все я не вникал. Одно – удостоверился: где-то здесь, за стеной, Даниэль, не в своем виде. Болен, что ли, или хуже, не выживет, в тюрьме ли, в лагере, с вечным крестом на шее? Грех, черный грех на мне. Загубил своего Даниэля. Втравил в литературу, втянул, наркоман, в пустошь, в трубу, откуда живыми люди уже не выходят. Успокаивайся теперь: сам полез, я же отговаривал – схватят. Да в том, что схватят, и был, может быть, соблазн. Писателей, знаете ли, тянет иногда заглянуть за край. Тянет...

Незадолго до этого, на вечеринке у Даниэля, в компании, мы сидели с ним, полупьяные, на полу, в обнимку, и я его чуть ли не в голос оплакивал уже заранее, глядя по черствой, в каракуль, теплой, как варешка, голове негра, по свисающей по-собачьи, премудрой, большой морде, в тяжелых складках, которую, через полгода, я действительно увижу, с новой, еле-еле заметной, горькой ложбинкой у рта, уже под штыком, на удаленном от меня расстоянии скамьи, как специально устроители рассаживали нас, не давая перемолвиться. Мы только переглядывались иногда и криво, понимая друг друга усмехались, да еще, опустив руки на колени, изображали рукопожатие, рот-фронт. Рот-фронт, Юлька! Писатель – внутри, заперт. Спросим себя, разве писатель, по-настоящему, это не конченный человек? Разве он не пытается всегда извлечь что-то новенькое из своей преждевременной, прижизненной кончины? Я предупреждал. Заперты. Но в друге узнать смертника?.. Литература – капут. Нет, так бросаться собой мог один Юлька...

Чем, однако, полезным заняться в пустоте ожидания, пока там, на небесах, судьи обедают, слоняются без дела, растягивая старательно таинственное свое заседание, как если бы что-то решали, оспаривали в нашей уже решенной без них, апробированной жизни? На счастье, у меня при себе оставались папка с бумагами и официальный карандаш. Ручку они запрещают, как орудие самоубийства. Но по статусу подсудимого пиши карандашом – не отберут, не придерутся, тем более что преступник проходит, так сказать, по писательскому каналу. А может, я себе обвинение сочиняю в предварение приговора? может, я какую-нибудь еще кассацию собираюсь накатать? На сей раз закон был на моей стороне.

И я начал намарывать какую-то бестолочь, приходившую на ум, не имевшую отношения к делу, – главным образом о книге, которую я со временем напишу, благо ничем другим был не в силах себе помочь. Не то чтобы какие-то замыслы роились в моей голове. Руководили не жар писательства, не литературный зуд, но инстинкт самосохранения, подсказывающий держаться за жалкое призвание крепче крепкого в момент, когда его у тебя, на виду у всех, отнимают. Мне важно было остаться писателем в собственной памяти и только поэтому вытянуть. И если жизнь проиграна и карта перекрыта, перейти на клочок бумаги, на это маленькое подобие необитаемого острова, на котором можно попробовать заново обосноваться.

...Это будет, на самом деле, книга о том, как она пишется. Книга о книге... Когда пишешь, не знаешь, к чему это приведет. Но пишешь и пишешь. С закрытыми глазами... Речь должна переворачиваться. На то она и речь. Она полна глубоких, но осмысленных неожиданностей... Ко всякой вещи подобает относиться почтительно, как к слову, которым эта вещь называется. Слово почтительнее вещи. И жить уже не среди вещей, но посреди слов, серьезно... И погрузиться в сладостный, тихий, движущийся мир прозы... Придумать, на крайний случай, если понадобится, язык, никому не доступный... И, умирая, зная, что все слова были поставлены правильно...

Собственно, не было ни темы, ни сюжета, требующих воплощения. Не было ни героев, ни образов, кроме этой мечты о книге, которая неизвестно зачем и с чего начнется, а если и начнется, то как ее, когда и каким еще карандашом написать? Речь шла скорее о книге,

которая не будет написана, но пребывает где-то там, в состоянии спорады, надежды, в самой себе, в отдалении от автора.

Я так и не написал этой книги и вряд ли напишу. Но прикосновение к мысли о ней всегда поддерживает в самые беспросветные полосы, и когда, казалось бы, все пропало, она является невзначай и тихо-тихо бродит вокруг, как бы медленно созревая, наращиваясь, пускай весь ее смысл состоит в этой сладкой недостижимости. Да, да, ты только думаешь о ней и не решаешься подойти, не подаешь вида, что когда-нибудь, с годами, за нее засядешь. Она полна неясных и неутоленных возможностей, она вправе быть и этой, и совсем другой, на себя не похожей, сама не зная, куда ее потянет канва, как повернется сюжет и лягут фразы, она вольна существовать бессвязно, необязательно, полнясь до краев мечтами и образами замаячившей перед глазами, но все еще не знакомой, не использованной свободой, по примеру человека, выпущенного вчера из тюрьмы, перед которым отворились ворота на все стороны света. Пока он едет в поезде в неизвестном направлении, а мы в свой черед, ему на смену, по-новому, идем на этап, пока не подоспела, не подступила к тебе книга, ты ей медленно говоришь сдавленным от восторга голосом:

– Не надо. Оставь. Побудь впереди, в этом тайном сознании длительного к тебе притяжения, в предвидении блаженства и ужаса тебе повиноваться, меря всякий день по отпущенным за ночь страницам. Останься такой, как есть, раздайся за эти стены, забудь обо мне, погоди, дай свыкнуться с мыслью, перевести дух, без усилий, без навязчивой привычки писать, сжался, ты же видишь, как слаб и не умею объяснить, чего ты хочешь, что ты устала на меня с укором, словно ветхий пророк, чтобы мы решали, жертвовали, мне завтра в лагерь, насушить сухарей, снять комнату, спросить махорку, добыть очки, заварить кофе, прежде чем годы и годы сидеть над твоей колыбелью, позволь пожить, предоставь отпуск за мой счет, разъедемся, прошвырнемся по городу, без дела, не думая, как сойдутся концы и улицы перевести на страницы, зайдем в кино, смотри, нет чернил, бумага кончилась и неостанет бумаги, в довершение дней, для совместных приключений. Уйди, пусть выйди, встретимся через семь лет, на том же месте, если хочешь, дай побыть без тебя, ну хоть в тюрьме, без тени, в неведении, хоть год, хоть месяц. Один день. Постой, куда же ты, слышала, бежим, никто и ничего, ни в мире, ни в камере. Кроме, без твоего покрова, где преклонить колени, залечь, сойти на нет – спаси меня, возьми меня с собой, унеси, книга!..

...Недели через три, к вечеру, за ночь до этапа, меня выдернули к следователю. Мы встретились как старые приятели. К тому моменту – за долгое общение – он как-то притерся и прижился в моем сознании, сделавшись, я бы сказал, наиболее приемлемой, доброкачественной маской среди судейских теней и привидений тюремного клана. При всех маневрах, он видел во мне более или менее живого человека, и я старался, ответно, то же самое в нем разглядеть. Не то чтобы от него исходило расположение. Благовоспитанный чиновник, он-то и подвел меня под обвинительную секиру, с вытекающим отсюда развитием. Но следователь Пахомов, в отличие от других инквизиторов, просто в силу хотя бы наших постоянных контактов, оброс материальным лицом в моих глазах и мелкими подробностями, которые, в общем-то, и позволяют нам судить худо ли бедно о человеческом характере. Во всяком случае в призрачном мире тюрьмы он спланировал для меня в доступную восприятию, пускай и неясную, ткань. После суда на Пахомова было приятно смотреть.

На сей раз, в последний вечер, он представлялся огорченным. Удовлетворение и какая-то подавленность вместе были написаны на его полном лице. Ему меня было жаль, по-отцовски. Как и многие другие, он знал приговор наперед, но по долгу службы выражал соболезнование и грустно умывал руки, призывая в свидетели, что ни он, Пахомов, ни органы госбезопасности к моей судьбе не причастны.

– Честное слово, у нас никто не думал, что столько дадут!.. Нет, мы не хотели!.. Что поделаешь – закон! Вне нашей компетенции! Это много – семь лет! Да еще строгий режим!

Вы сами заработали! Не надо было глупо вести себя на суде... Я предупреждал – и вот результаты. И потом это ваше заключительное слово на процессе. Лично я не в курсе, чего вы там городили, но это же, все говорят, скандально, безобразно... Ни в какие ворота!.. просто ни в какие ворота... Зачем вы так... вы сами себя... сами себе...

Он спихивал грех за тяжелый срок на меня. Это так понятно. Никому, за редким исключением, не хочется быть палачом. Сколько раз, и дальше, и прежде, люди, меня истреблявшие, объясняли мне доверительно, что сам я во всем виноват. И назывались – друзьями... С какой же стати Пахомову лезть в малюты? Он только со мной размежевывался, как с тонущей льдиной, поскольку был хорошим, обыкновенным человеком, как сам рекомендовался. Ничуть не хуже меня.

Недавно, уже в Париже, мне привиделось во сне круглое, детское лицо Пахомова, с маленькой, сдобной бородавкой у рта, как это иногда бывает. И он брызгал слюной на то, что я сейчас рассказываю:

– А я не щелкнул! Ты не думай. Это *те* щелкались, *те* — из старой гвардии! А я – не щелкнул!..

К чему это он? Такими словами мы никогда не обменивались: «щелкнул», «не щелкнул», «старая гвардия»... Откуда они берутся? Сны и явь редко совпадают.

Конечно, его со мной многое связывало. И в следующий раз, при случае, я еще постараюсь поймать Пахомова на слове, как он ловил меня, выводя на чистую воду. Допрос – обоюдный. И нет конца допросам. А пока – что сказать? Ну, средний класс. Хороший следователь. Добропорядочный человек. Одно уже имя говорит в его пользу и звучит спокойно: Пахомов. Виктор Александрович – тоже просто и немного по-домашнему, но в меру. Не надо бояться.

Сейчас, прощаясь, он казался почему-то расстроенным. Это после объяснилось, много после, чем, собственно, Пахомов был тогда угнетен. Процесс сорвался. Спектакль провалился, и ты помог этому, писатель. Не обольщайся: совсем не в тебе дело. Но дело получило толчок, ход, благословение, огласку, бешеный успех и, не дойдя до покаяния, до кульминации, упало. Это как в романе, представьте. Ни с того ни с сего герой выходит из строя, вылезает из фабулы, из кровати, буквально, из объятий Прекрасной Дамы. И говорит: Я пойду пройду... Это после всех-то в публичных процессах завоеванных достижений? Когда всякому ясно, как правосудна страна. На Верховном-то Суде – не признать? Увильнуть? Вредительство. Как взорванный долгожданный Дворец. Как диверсия на транспорте. На фабрике. Только-только налаживалось. Фейерверк. Форум. О, не верь – не твои семь лет задела Пахомово мохнатое сердце. Не был бы он подполковником по особо важным делам. Сам ты хвостатый! Сам во всем виноват! Тем временем, покуда, нахохлившись, без выходных дней, заседали, делили дело, сходил бы в универмаг: куры из Ирландии! Не возразить. Безболезненно. Пока там, в камерах, по лагерям догнивают, они ковали, трудились, не покладая рук, высиживая золотое яичко. Пасхальное. Разбилось. Мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко разбилось. И вся сказка! Это надо оценить. Готовился к празднику, к 23-му съезду, партийный, от КГБ, подарок. Показательный, с оглаской Западу, на белоснежной, с хрустом, салфетке... Но куры из Ирландии – разве они поймут? И кто продолжит? Чем возместить? Что делать? Я спрашиваю: как выразить?! В миракли, в пристяжные ЦК, позванивая колокольцами, с Лениным в санях, во дворец, в казнях, с реабилитацией Сталина, въехать, в регламенте, с псалмами и залпами под звездой, под горькой звездой Семичастного. Под высокой его, под закатывающейся слезой...

– Вы сами виноваты, – бормотал Пахомов, думая о чем-то своем. – Вы сами виноваты, Андрей Донатович...

О товарище Семичастном я в состоянии размышлять исключительно отвлеченно, по звукообразу имени, которое остановило меня с чисто графической стороны, спускаясь на паутине в виде подписи на обвинительном грифе. Какое-то удивительно длинное и, чуди-

лось, не вполне основательное для занимаемого положения имя. Даже генерал Волков, не говоря о Пахомове, весил больше. Сами посудите:

«Председатель Комитета Государственной Безопасности при Совете
Министров СССР, генерал-полковник
В. Е. Семичастный.

Начальник Следственного Отдела СССР, генерал-лейтенант
А. Ф. Волков.

Следователь по особо важным делам, подполковник
В. А. Пахомов.

Все ниже и ниже, по строчкам. И, наверное, потому, что писался Семичастный выше и протяженнее всех, он складывался у меня в уме в длинную, складную фигуру, вроде Дон-Кихота, для которой, если взойдет она в комнату, делались бы специальные проемы и прорезы в потолке, точно расчерченные, по линейке, чтобы было куда ей девать узкогрудое туловище и слаборазвитые плечи, терявшиеся в прорезях уже следующей надстройки, где она размещается верхней частью, всегда непостижимо отсутствующей. Мне-то снизу были видны только ее ноги, наподобие ходуль, неустойчивые, хилые ноги, спускавшиеся для подписи. Кто же мог предугадать, что смутное это чувство, исходившее единственно от растянутых очертаний фамилии министра, вскоре оправдается и Семичастный, комсомольский работник, верзила, кулачный боец, на расправе с Пастернаком схвативший олимпийский приз, исчезнет с горизонта, словно конькобежец, уступая дорогу блистательному рекорду Андропова?..

– Вот и доигрались! – попрекал мягко Пахомов. – Вели бы себя умнее, и все бы обошлось.

А я, не горячась, излагал ему порядок судебного разбирательства, о котором он будто бы впервые от меня слышал, с удивлением, поскольку ведь это уже иная, дальнейшая, в передаточной системе идей и звеньев, коллегия, не зависящая от следствия, ну как я не понимаю, другая, во что вникать ему по закону не положено, во избежание воздействия заинтересованного лица, для правильности, в соразмерении выводов, чему я не перечил и, пользуясь видимым различием колес в конвейере, обрисовывал верховные головы на уровне помойного дна. Казалось, он сострадал мне и наслаждался нехотя мерзостью простоволосых своих, судебных коллег, пока, похихотав, не спохватился:

– Однако, знаете, какие мы письма получаем с той поры, как это – не по нашему, поверьте, желанию, – попало в печать? Сотни писем! С требованием для вас, не шутите, смертной казни... Вот пишет одна, бедная уборщица: у нее сын, за небольшую кражу, восемь лет схлопотал! А вы! – за совершенное вами! – семь?.. Что вы валите на Смирнова, на общественных обвинителей Кедрину и Васильева?.. Вам их благодарить надо! Благословлять!.. Да весь народ считает, что мало вам присудили... Выпусти вас, предположим, вот сейчас, на свободу, на улицу, – вас бы растерзали...

В его тоне слышалась горечь, смешанная с откровенной угрозой. Откуда мне было знать, что мой Пахомов репетирует оборонную речь донского казака на 23-м съезде? Дескать, секим башка! на коня! газават! и слава партии! Шла джигитовка. Велась тяжелая артиллерийская полемика с Западом. Естественно, письма, пресса и весь народ были против меня. И только он, Пахомов, с его карательным аппаратом, еще охраняли нас от ярости народной. Но и они не всеильны, намекал он, разводя руками. Если бы суд, по просьбе трудящихся, пересмотрел дело, то... В это я верил.

Сокамерник, из бытовиков, хороший парень, вздыхал:

– Лишь бы вас подольше попридержали в Лефортове. Пока волна не уляжется. Вы не знаете блатных. Политические для них – фашисты. А вы еще хуже. Могут изуродовать, свести счета по газетам...

Кое-что из газет я уже смотрел. Самую малость. Но и без этого, по всей атмосфере, было заметно, что народ не потерпит в своей среде отщепенцев, которым самое безопасное место в тюрьме. Сокамерник мне сушил сухари на батарее, приготовляя на этап, и все молил Бога, чтобы повременили с отправкой. Пускай сперва изгладится память обо мне и Даниэле.

– Хотите на прощание я вам дам добрый совет? – спросил Пахомов, светлея лицом, словно о чем-то вспомнив. – Не как следователь КГБ. Просто как человек с известным жизненным опытом...

Я рад был его послушать. С тех пор, как допросы кончились, он мне даже нравился или, точнее говоря, занимал с собственно психологической стороны, как человеческая природа всей этой особой и странной для меня разновидности существ, сделавших своею профессией уловление и защемление ближнего. Всегда интересно знать: что ест крокодил? Кажется, через него я постигну когда-нибудь и тайну власти, и загадку современной истории, общества, положившего делом жизни истребление жизни, личности, искусства, меня, в частности... В качестве же человека, индивидуального лица, которое я за ним всегда подозревал, он не возбуждал антипатии, и я не держал на него сердца. Просто мы с ним немного разошлись во мнениях... Пахомов рассмеялся:

– Вы уже насторожились?! Да бросьте, Андрей Донатович, все время думать, что вас обманывают... Мой дружеский совет очень прост: сбейте бороду. До отправки в лагерь сбейте бороду. Рекомендую...

– А когда этап?

– Право, не знаю. Это же, сами понимаете, – вне моей компетенции.

Он сделал обычную свою, брезгливую гримасу, которую я уже заучил, означавшую, что тюремные порядки не имеют к нему касательства. Сопоставление с тюрьмой странным образом его корбило. Как-то, еще в начале нашего знакомства, он поинтересовался: «Вас, Андрей Донатович, наверное, *там* плохо кормят?..» – с сочувствием, понизив голос, выражая одновременно крайнее сожаление, что ничем решительно, при всем желании, не в силах мне помочь. Помнится, в раздражении, я осведомился: где это – *там*? «Ну-у, – помялся он вальяжно, избегая неприятного слова, – ну там, надзор-состав, персонал...» Стоило мне, однако, иронически усомниться, да возможно ли такое, чтобы он, следователь по особо важным делам, всю жизнь проработавший бок о бок с тюрьмой, вот здесь, за этой дверью, не ведал, как содержат арестованных, чем их кормят в *его* тюрьме, как он искренне обиделся. И это не было, уверяю вас, обыкновенным его, изо дня в день, должностным хамелеонством, к которому я тоже достаточно уже присмотрелся. Нет, это был взрыв живого негодования! Почему?! Какая связь?! Одно дело – тюрьма, другое – следователь. Это же разные вещи! У них и министерства разные – МВД и КГБ. У одних малиновые фуражки, у других голубые. Но главное – функции, функции несопоставимы! Неужто я думаю, что это он, Пахомов, здесь меня держит, стережет, плохо кормит? Что он меня арестовал? Что он, может быть, и прокурор, и суд, и тюрьма, и лагерь? Все – он?! Да у него узкая специальность – *следователь*! Конкретный отрезок. От сих – до сих. Меня послушать, так он, Пахомов, – и все наше государство, и печать, и общество!.. Он не ошибался. Что все это он, Пахомов, – я так и думал, между прочим, откровенно говоря. Только сам он об этом еще не знает. Однако, когда этап, – он знал. Точно знал!

– Как вы думаете, Виктор Александрович, – меня вместе с Даниэлем отправят? В одном вагоне, в один лагерь?

– Повторяю, я не в курсе. Но скорее всего – вместе. Надеюсь... И сбейте бороду, мой совет. Сегодня же вечером. Попросите надзорсостав – они сделают. Будете как новенький...

– А куда?
– Тоже не знаю.
– На север? На восток?
– Скорее всего – не на север: по секрету, так уж и быть... Может, даже – на юг. Южнее – Москвы...

Он улыбнулся. И следовательно кстати бывает сказать вам приятное.

– В Казахстан?

– Вот видите – вы какой! Все хотите допытаться... Нет-нет, больше я ничего не скажу! Но бороду – снимите. И вам не к лицу... И, потом, знаете, привяжутся... Воры, уголовники. Могут и поджечь. Поднесут, знаете, спичку – и вспыхнет. Как стог сена...

– Ну когда сожгут – тогда и сбрею. Успеется.

Следователь поскуцнел. Заботился он обо мне или запугивал, чтобы сбить спесь? Сокамерника вот тоже тревожила моя борода. К чему лишний раз обращать на себя внимание?.. Могут изуродовать... Но как это ни смешно, снять бороду в тот момент казалось мне спуском флага.

Внешности своей, портрету, я значения не придавал. Плевать мне на какую-то бороду! Но уж очень они что-то старались, настаивали... Раскаяние? Измена себе? Потеря лица? Чего этот Пахомов, по важным делам, крутится вокруг бороды?.. Нет, сволочи! Не дамся. Короче, мало-помалу я становился уголовником, как сами они называли, злым и недоверчивым эком, высчитывающим каждый шаг от обратного. Только от обратного!..

Да и то, пораскинуть мозгами, пройдет год, большой лагерный год, и к Даниэлю, на 11-м, подвалится заезжий чекист, к станку, в производственной зоне.

– Привет вам от Синявского! – скажет, внимательно поглядев, как Даниэль вытаскивает какое-то, по норме, дерьмо. – Я только что из Сосновки, с первого лагпункта. Синявский просил кланяться...

– Спасибо, – ответит, не поворачивая головы, Даниэль. – Что Синявский?

– Нормально. Ничего. Здоров. Недавно побрился...

– Как – побрился?! – не поворачивая головы, Даниэль.

– Да вот так. Он теперь без бороды. Я сам его видел. Разговаривал. Вот привет вам привез...

Стоит ли пояснять, что я и в глаза не видал этого хмыря? И бороды не брил. Далась им моя борода! И никакого привета, с чекистом, не посылал...

Расставаясь со мной, Пахомов, в последний раз, посоветовал:

– Ох, подожгут вам урки вашу лопату! И не идет вам совсем. Помяните мое слово!..

И взаправду, утром – этап. Все как полагается, как читали: овчарка, автоматчик. «Шаг вправо, шаг влево...» Ноги разъезжаются. Март. Со свежего воздуха я шатаюсь. Неужели действительно выстрелит, если, допустим, поскользнусь? Дальняя, тыльная сторона вокзала. Кажется, Казанский? Не разобрать. Черные человечки копошатся на шпалах. Светает. Скользко. Всаживают в поезд на каких-то интимных путях. Безлюдно. Пустой вагон. Голое железо. Через весь зарешеченный коридор, дальше, дальше, в передний отсек. Стоп. Тройник. Один. Столыпин. Полчаса не прошло, слышу топот, ругань, лязг, толпа, забивают арестантов, в клетки, по отсекам, не докатываясь до меня. Ах да – я же политический, опасный! А за мной, за перегородкой, по клеткам, вперемешку – блатные, урки, бытовики – навалом! Бедняги! Я, как барин, сижу один, в отдельном тройнике, чтобы не было эксцессов, наверное. Ловлю имена, голоса. По вагону – гогот, брань, перепалка.

– Люба, Вера! Хочешь – пососать?

Уж на что я привычный...

– Иди на хуй! – огрызается Люба или Вера. Кокетничает. Бодрится, чтобы не заплакать. Весело кричит «на хуй», а в голосе злые слезы. Сколько ей дали – восемь или десять? Мне

как-то совестно в одном купе на троих... Трогаемся, вроде. Куда? Я не верю Пахомову. На юг или на север? Не все ли одно? Едем. Кажется, едем. Не доводилось еще в вагоне без окон, где только по стуку колес успокаиваешься: едем!

Разносят кипяток. Хлеб, селедка. В зарешеченную дверь, ромбами, виден отрез коридора. Бегают конвой. Огрызается: кого в уборную? Меня, меня в уборную! Выводят. Спереди и позади по солдату. Руки назад! Не оборачиваться! Иду на оправку. Кошу глазом: слева, людской стеной, в зоопарке, – глаза, пальцы, носы. Не задерживаться! Быстрее! И вдруг – в затылок – призывным криком:

– Синявский! Синявский!

Не останавливаться! Шальная мысль: Даниэль? Юлька? Здесь? Его тоже везут? Кто другой узнает меня? Нет, не его голос... С оправки. Кошу направо. Зэки, зэки и зэки – как сельди в бочке. Сзади – опять:

– Синявский!..

И – смех... Нет, не Даниэль! Но откуда? Кто?.. Камень на сердце. Догадываюсь: конвой разболтал. Либо специально подстроено. Хотят проучить, напугать. Пахомов предупреждал: подожгут. Сбывается...

Подходит начальник конвоя. Молодой, собранный. Точеный. Затвор от винтовки. Смотрит спокойно и холодно ко мне в клетку.

– Откуда, – спрашиваю, – у вас тут, в вагоне, знают меня по фамилии? Все документы – у вас. Никого ж не было, когда меня – заводили. И, вообще, никто меня никогда не видел. Почему окликают? Это вы им рассказали?..

Тот долго и мрачно, через решетку, покачиваясь, всматривается в меня. Вспоминает. И злобно, словно я Пугачев, чеканя:

– А тебя теперь все знают!

Лицо мраморное, прекрасное, как это в мраморе бывает, с розовыми прожилками, в сдержанной ненависти ко мне, которые, не дай Бог, нальются чуть более розовой кровью, и треснет – мрамор, но белое покамест, как бюст. Из таких бы лиц высекать памятники легионерам конвойной службы, когда боец держит тебя на прицеле, а та рычит, та рвется с прицепки, но тот, усилием воли, ее осаживает назад, с непроницаемым, как пьяный, лицом, в исполнение дисциплины, презрения и гордого довольства собой, что он тебя не убил, только смерил взглядом и, не удостоив внимания, цокая подковками, пошел дальше по вагону.

– А тебя теперь все знают!

Плохо мое дело. Ясно: конвой разболтал – кого везут и за что. Только вот куда и сколько еще ехать – не ведомо...

Вечером или ночью – в темноте, в прожекторах не поймешь, который час, – выгружают. На сей раз – всех вместе, не разбираясь в мастьях. Сбитой в загон отарой мы вертимся, мы теснимся на снегу, в прожекторах, наставленных в наше крошево.

– Где мы? – громко спрашиваю.

– В Потье! Мордовская АССР! – отзывается рядом какой-то, должно быть, бытовичок. – Вы что – не узнаете? Раньше – не бывали? Вы из какой тюрьмы будете, простите?..

– Из Лефортова.

Твердо – из Лефортова. Для меня Лефортово – марка. У меня отец еще сидел в Лефортове, и я ему деньги носил. Что ни месяц – 200 рублей, считая старыми деньгами. Для них – не известно еще, звучит ли это имя, означает ли что-нибудь? Но я – из Лефортова...

– Из Лефортова?! – разом откликнулось несколько голосов. – Смотрите – он из Лефортова! Один – из Лефортова! Где – из Лефортова?..

Когда я повторяю сейчас эти гордые знамена – «из Лефортова», – я знаю, что говорю. И мне хочется, чтобы Лефортово оттиснулось на лбу режима не хуже, чем Лубянка, Бутырка,

Таганка... Лефортово почиталось, между знатоками, особенной тюрьмой. За Лефортовым стлались легенды, таинственные истории... Будет время – я об этом расскажу. А пока:

– Я из Лефортова...

Смотрю, проталкиваются – трое. Судя по всему – из серьезных. Независимо. Раскидывая взглядом толпу, которая раздается, как веер, хотя некуда тесниться.

– Вы из Лефортова?

– Из Лефортова.

– А вы в Лефортове, случайно, Даниэля или, там, Синявского – не видали?..

– Видал. Я – Синявский...

Стою, опираясь на ноги, жду удара. И происходит неладное. Вместо того, чтобы бить, обнимают, жмут руки. Кто-то орет: «качать Синявского!» И – заткнулся: «Молчи, падаль! Нашел время...»

В большой, общей, – я никогда еще не видал таких больших и общих, – параше, куда вмещается разом пол-этапа, где мы будем спать рядами, строго на правом боку, чтобы уместиться на нарах и не дышать друг другу в лицо, – все проясняется. Народ грамотный, толковый. Рецидивисты. У одного четыре судимости. У другого – пять. Я один – интеллигент, «политик». Послезавтра, говорят, нас развезут, кого куда, по ветке, по лагпунктам, которых всего, считая по номерам, девятнадцать. И мы уже не встретимся, не пересечемся. Политических с некоторых пор отделяют от уголовных. Чтобы не слилась, очевидно, вражеская агитация с естественной народной волной. Боятся идеи? Заразы? Им виднее. У них опыт позади – революция. Но куда еще идейнее, активнее добрых моих уголовников и кто из нас тут, не пойму, опасный агитатор? Каждый торопится выразить свое уважение. Еще бы – читали в газетах! большой человеке преступном мире! пахан!..

– По радио про вас передавали, Андрей Донатович!.. Я сам слышал!.. По радио!..

В блатной среде ценится известность. Но есть и еще одно, что я уцепил тогда: вопреки! Вопреки газетам, тюрьме, правительству. Вопреки смыслу. Что меня поносили по радио, на собраниях и в печати – было для них почетом. Сподобился!.. А то, что обманным путем переправил на Запад, не винился, не кланялся перед судом, – вырастало меня, вообще, в какой-то неузнаваемый образ. Не человека. Не автора. Нет, скорее всего, в какого-то Вора с прописной, изобразительной буквы, как в старинных Инкунабулах. И, признаться, это нравилось мне и льстило, как будто отвечая тому, что я задумал. Такой полноты славы я не испытывал никогда и никогда не испытаю. И лучшей критики на свои сочинения уже не заслужу и не услышу, увы...

– Ловко ты им козу заделал!

– Я – думал, а ты – писал!

– Семь лет – детский срок! И не заметите, как пролетит...

– Да за такой шухер я бы на вышак согласился!

– Скажи, отец, и я поверю! – выскочил молодой человек, шедший по хулиганке. – Коммунизм скоро наступит? Ты только – скажи...

Куда мне было деваться? Здесь же, среди них, в принципе, и стукачи водятся... Паховов, еще до суда, напутствовал: учтите – за продолжение в лагере в устной или в письменной форме... Наша вольница, однако, не приученная к подводным камням хитрой 70-й статьи, замороженная, умолкла. Все ждали от меня, наступит ли коммунизм. Как опытный педагог, я ответил уклончиво:

– Видите ли, за попытку ответить на ваш интересный вопрос я уже получил семь лет...

Каторга ликовала. Казалось, эти люди радовались, что никакой коммунизм им больше не светит. Ибо нет и не будет в этом мире справедливости...

Перед сном уже, у противоположной стены, встал над телами, на нарах, чахоточного вида шутник. Я узнал его по голосу: это он куролесил с девушками в вагоне, заводил зна-

комства. А в чем душа держится? Чудилось, ребра просвечивают сквозь заношенную, до подкладки, кожанку. Он явно рисовался – на веселую аудиторию:

– Слушай, Синавский, это я кричал «Синавский», когда тебя вели на opravку!..

Вскидываюсь в изумлении:

– Но как вы угадали? Кто вам сказал тогда, что я – Синавский?..

– А я не угадывал. Вижу, ведут смешного, с бородой. Ну я и крикнул – Синавский! Просто так, для смеха... Мы не думали, извините, что это вы...

Да, Пахомов, не повезло вам с моей бородой. Подвели вас газеты. Обманули уголовники. И вам невдомек, как сейчас меня величают, как цацкают меня, писателя, благодаря вашим стараниям. И кто? Кто?! Воры, хулиганы, бандиты, что, дайте срок, всякого прирежут, независимо от ранга. И нас раньше, по вашему наущению, резали. Времена, что ли, не те? Верить вам перестали? Народ, ваш народ, Пахомов, из которого вы вышли, а не я, которым вы гордитесь, клянетесь, козыряете что ни час, а не я, от которого остерегали, который науськивали на меня: изуродуют! спалят! растерзают!.. Вам, выходит, Пахомов, его надо бояться? Настала моя пора. Мой народ меня не убьет. Вас бы, боюсь, не убили. Не подожгли бы волосы, чего доброго, – и безо всякой бороды? В споре со мной вы проспорили, вы проиграли, Пахомов!

Не к вам, а ко мне потянутся в лагере заезженные вами люди – на исповедь, за утешением: а может, еще напишет? Меня будет спрашивать уркаган, с бойницами вместо глаз на лице, доведенный до петли бесчисленными сроками, кого для пользы дела из доносчиков, из начальства убрать перед концом. Все одно – помирать, больше не может, посоветуй, писатель, поконкретнее, поточнее – кого? И мне, а не вам достанется его уговаривать, чтобы никого не губил в подвернувшуюся, злую минуту. Ко мне приползет доносчик, подосланный вами, и, заглядывая в глаза, предаст вас, раскрыв карты, что выведываете вы обо мне и что ложное вам принести в зубах по вашему заказу. Меня вызовет нарядчик, определяя с этапа, куда поставить, и, заперев дверь на ключ, признается, что не в силах ничего полегче для меня изобрести, поскольку вашей рукой, из Москвы, от КГБ, наложена резолюция в деле: «использовать только на физически тяжелых работах», Пахомов.

За что мне такая удача, Виктор Александрович, как вы считаете? За добрый нрав? За прекрасные глаза, как вы любили выражаться? Да нет, единственно, за подлую репутацию несогласного с вами, перевернутого в сальто-мортале несколько раз и вставшего на ноги, на равных с ворами, писателя. За книги, по вашему обвинению самые ужасные, клеветнические, лживые, грязные, за преступные книги, которые здесь никто и не читал, кроме вас, и не прочтет, напечатанные там, где никто не бывал и не будет, непонятные никому, ненужные, но все это уже не существенно, не важно. Меня высаживают – раньше всех, одного, из битком набитого поезда, на первой же маленькой лагерной остановке «Сосновка». – До свидания, Андрей Донатович! До свидания, Андрей Донатович! – скандировал вагон. У них направление ехать дальше по ветке, а меня внизу ждал уже автоматчик с овчаркой – вести пешком в зону. «Шаг вправо, шаг влево – стреляю без предупреждения». – Прощайте, ребята! – Мне вдогонку, в дорогу, неслось из задраенных вагонов:

– До свидания, Андрей Донатович...

– Еще раз обернешься – выстрелю, – сказал беззлобно солдат.

– До свидания, Андрей Донатович...

А ведь им, наверное, Пахомов, из клеток, в духоте, вслепую, так слаженно, коллективно выговаривать мое непривычное имя-отчество было ни к чему. Да и ласковое, радостное «до свидания» не шло к обстановке, Виктор Александрович, не шло к этим прокаженным устам. Это вам не театр. Что скажете сейчас, в продолжение ваших допросов? Я-то одно помню:

– Море приняло меня! Море приняло меня, Пахомов!..

Глава вторая

Дом свиданий

Случалось ли вам, любезный читатель, бывать в Доме свиданий? Если нет, позвольте для начала, ради удобства рассказывания, описать вам эту скромную, барачного типа, гостиницу, прилегающую к вахте и контрольно-пропускному тамбуру, на рубеже лагерной зоны и вольной проезжей дороги. Дом свиданий служит нейтральным, я бы сказал, предзонником, хотя практически расположен уже на территории зоны, вдаваясь в нее невзрачным, продолговатым мыском, полуостровом, окруженным с трех сторон, не считая забора, перепаханной запреткой и проволокой. Четвертая сторона Перекопа – вахта с надзорсоставом: вход и выход в Доме свиданий. Баста.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.